

Елена
Арсеньева



РУССКАЯ КРАСАВИЦА



Свет мой ясный

Русская красавица

Елена Арсеньева

Свет мой ясный

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Дѣ=Дѳ)6-44

Арсеньева Е. А.

Свет мой ясный / Е. А. Арсеньева — «Эксмо», 2019 — (Русская красавица)

ISBN 978-5-04-104474-9

На своё счастье и беду, отправилась юная травница Алёна в лес купальской ночью. Встретила она таинственного незнакомца и без памяти влюбилась в него, но поутру он исчез... Меньше чем через год выдали Алёну замуж – и такие беды посыпались на буйную головушку красавицы, что обвинение в убийстве супруга – ещё не самая страшная из них... Самая-то лихая вот какая: в своём главном гонителе, царском сыщике Егоре Аржанове, узнала Алёна того самого, купальского, свет свой ясный...

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Дѣ=Дѳ)6-44

ISBN 978-5-04-104474-9

© Арсеньева Е. А., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Пролог	7
Глава первая	9
Глава вторая	14
Глава третья	17
Глава четвертая	25
Глава пятая	31
Глава шестая	39
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Елена Арсеньева СВЕТ МОЙ ЯСНЫЙ

Многая помощь бесам в женских клюках!
«Слово о женах»



РУССКАЯ КРАСАВИЦА

© Арсеньева Е.А., 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019



Пролог

... Дверь внезапно распахнулась, и стены сотряслись от истошного вопля:

– Изменщик! Шуфт гороховый!¹

Фриц вскочил, как зазевавшийся новобранец по команде капрала, и ошалело уставился на сдобную даму в беленьких кудельках, столь пышно и затейливо взбитых, что могли бы соперничать с наимоднейшим париком.

– Катюшхен... – робко проблеял он, однако разгневанная особа вновь завопила, словно желая, чтобы ее анафему было слышно на всех площадях и улицах:

– Катюшхен?! Хрен тебе, а не Катюшхен, чучело заморское! Да гореть бы вам в адовой смоле, грешникам!

И, чтобы проклятие уж точно не миновало проклятых, она для верности ткнула пальцем сначала во Фрица, а потом в его сообщницу, которая полулежала на канаве и неторопливо приводила в порядок свои смятые одежды.

– Не согрешешь – не покаешься, – ухмыльнулась сообщница, нимало не смущенная, словно попадать в такие ситуации для нее было дело привычное.

– Молчи, ты, оторва! – вызверилась «Катюшхен». – Я тебя голую-босую на улице подобрала, приютила, обогрела, а ты... Змею подколотную я на своей груди вскормила! Змеищу!

От жалости к самой себе у нее выступили слезы и покатались по буйно нарумяненным щечкам, а одна даже капнула на грудь.

Лицо Фрица перекошилось от жалости...

– Что это вас, барыня, разобрало? – нагло спросила «змеища». – Сколь мне ведомо, вы уж давненько герра Фрица в покое оставили. Как же не подобрать то, что плохо лежит?

Барыня от такого бесстыдства опять ударилась в крик, поливая «изменщика» и «распутную девку» такими помоями, что Фрицу наконец надоело их хлебать.

– Довольно, Катюшхен! – заговорил он, против обыкновения, очень чисто по-русски – должно быть, от злости. – Мы не супруги, и я не давал тебе поручительства в вечной верности. Твое поведение с этим толстым герром Штаубе меня тоже изрядно возмущает! Я ведь видел, как вчера на балу он уронил тебе в декольте маринованную вишню, а затем бессовестно выуживал ее оттуда пальцами, причем ты не отвесила ему пощечину, а только хихикала.

– Ну так щекотно же, – простодушно улыбнулась Катюшка. – Небось захихикаешь, когда он холодными перстами...

Но тут же спохватилась, что из обвинительницы вот-вот сделается обвиняемой, и снова заголосила:

– Господин Штаубе хоть и толст, да не скуп! В отместку за щекотку он мне меж грудями золотую монетку сунул! А ты каков? Где те шнурованья² да сорочки с чулочками, кои ты мне не далее как третьего дни клялся презентовать? А туфли? Туфельки красненькие с каблучками? Сулил, да в посулах по сей день и хаживаю! И еще смеешь мне вчинять упреки? А я что – к дереву привязанная, чтоб их выслушивать? Не стану! Уйду от тебя, постылого! Герр Штаубе домик мне в Китай-городе обещался снять, а что тут у тебя, в такой дали от всех, скуку сучать? Оставайся здесь сам со своею оборванкою! Только знай: все робы³ мои, и юбки, и прочие вещички, и епанчишки⁴, и шали – я все с собой заберу, а коли не дашь – так ославлю тебя, что и на Кукуй⁵ носа не сунешь: засмеют!

¹ Героиня смешивает русское «шут» и немецкое «schuft» – негодай.

² Корсеты (старин.).

³ Платья (старин.).

⁴ Епанча – длинный и широкий плащ (старин.).

И, не удостоив более взглядом ни бывшего любовника, ни ту, с которой он оказался застигнут на месте преступления, Катюшка круто повернулась и поплыла из комнаты. Ее торжественное убытие было несколько смято тем, что ворох юбок, распертых фишбейнами⁶, застрял в дверях, и ей пришлось протискиваться бочком. Но вот сие было благополучно осуществлено, и дверь за оскорбленной в своих лучших чувствах дамой захлопнулась.

Фриц фон Принц получил отставку.

По дому еще какое-то время разносилось эхо Катюшкиного негодования, однако собрала она свои пожитки на диво споро: не прошло и получаса, как засвистел, загаркал под окнами кучер, и сытые лошади, громко топая по набитой земле, повлекли возок с Катюшкиным добром и ее саму прочь от грешного любовника – в объятия нового... Новое ведь, известное дело, всегда лучше!

Девка, которая ввела Фрица во грех, задумчиво поглядывала на оторопелого немца.

Уж не исчезнуть ли ей подобру-поздорову? Дело-то сделано, чего еще ждать?

Внезапно Фриц ожил. Подошел к буфету, достал четырехугольную бутылку толстого стекла, глотнул прямо из горлышка раз да еще раз, а потом повернулся к канапе с восклицанием:

– Ну, *fortfahren* там, где *aufhören*!⁷

И немедленно исполнил сказанное.

⁵ Т. е. в Иноземную слободу, где жили и соотечественники Фрица – немцы.

⁶ Фишбейн – прообраз будущих фижм: особых каркасов, распирающих женское платье справа и слева, предшественников обручей-кринолинов.

⁷ Продолжать; прекращать (*нем.*).

Глава первая

Спасена, да не прощена

Алена вылила последнее ведро в бочку и с наслаждением разжала руки. Ох, как же она умаялась! Сперва, вставши далеко затемно, колола дрова – готовить завтрак, потом чистила котлы после него. А пока наполнишь эту бочку, руки отвалятся! Для трапезы воду велено было носить только из ключа под горою, хотя водовозы исправно доставляли бочками обычную, речную. Но сестра Еротиада, трапезница, была непреклонна: только ключевую! И носить воду предписывалось келейнице Алене. Только ей. Изо дня в день. Не менее двадцати раз спускаясь под крутую гору и вползая на нее, причем с двумя тяжеленными деревянными бадейками, из которых чуть не половина воды просачивалась да выплескивалась. Ноги у Алены всегда были ледяные и мокрые. Спасала летняя теплынь, к тому же, верно, ничто теперь не охладит ее сильнее того смертного холода, который она непрестанно ощущала те сутки с половиною, пока не спустился с небес светлый ангел и не только душу ее освободил, но и тело избавил от мучительной смерти.

...Страшно вспомнить былое! Даже стража изумлялась, как это мужеубийца, зарытая сутки назад в землю на Красной площади⁸, так что только одна голова торчала, все живая да живая. А она сама не знала, как это так случилось, и молила Господа о смерти. Обугленное тело Фролки покачивалось над ней, и несчастная знала, что снимут его, лишь когда она умрет.

Фролку спалила Ульяница: она созвала стражу, она обвинила невестку и ее любовника в отравлении своего брата, беломестца⁹ Никодима Журавлева, и краже его казны, а когда в пыточной избе никто из схваченных не пожелал признаваться в преступлении, Ульяница, воспользовавшись минутным отсутствием палача, подскочила к висящему на дыбе Фролке, извлекла из складок своего мрачного вдовьего одеяния плоскую квадратную бутылку, свинтила пробку и чем-то едким, остро пахнущим щедро облила Фролкину голову, а потом схватила свечку и сунула ее прямо в лицо парня.

Нечеловеческий вопль оглушил Алену, лежащую в углу со связанными руками, вспышка огня ослепила ее. Голова Фролки пылала... Тогда Алена и закричала:

– Да! Да! Я виновна! Убила! Отравила! Да, да! Только оставьте его, оставьте!

Сознание спасло Алену от пыток, но приговорило к мучительной смерти. Оболгав себя, она избавила и Фролку от новых мучений, да не от гибели! Ежели б их судили лишь за прелюбодеяние, то, вода по улицам вместе нагими, били бы кнутом. Но... «Подлежат, яко разбойники, казни смертной!» Полумертвый Фролка был повешен; для него смерть сделалась мгновенным и милосердным избавлением; сообщницу же его зарыли в землю «по титьки с руками вместе» и оставили умирать.

От ужаса, холода и жажды Алена пребывала почти в постоянном беспамятстве, которое развевалось только дважды: первый раз на время, второй – навсегда.

...Вдруг затопали копыта, совсем близко пронеслись кони. Три темные фигуры соскочили с коней, миг сделалось светло как днем от факелов.

– Ну что, Франц? – с усмешкой, раскатисто проговорил тот, который был выше всех ростом. – Говорил я тебе, что сыщу-таки не нарумяненную, не набеленную бабу? А ты спорил: мол, не отыщется таковой на Московии! Ну как, сыскал?

⁸ Обычное в петровское время наказание для преступниц.

⁹ Беломестец – человек, свободный от казенных платежей, в отличие от посадских людей (*старин.*).

– Сыскал, что и говорить, – мягким нерусским голосом отозвался человек в огромном желтом парике, который в свете факелов чудился отлитым из золота. Да и сам обладатель его весь искрился и сиял множеством золотых и серебряных украшений да камней, там и сям на него навешанных. Двое других выглядели несравненно скромнее, особенно тот, самый высокий, одетый и вовсе как простой человек, – однако именно перед ним пуще всего тянулись солдаты, именно ему с почтительным лукавством кивал разряженный господин, приговаривая:

– Не спорю, не спорю более, великий государь!

Государь!

В своем полумертвенном оцепенении Алена слегка встрепенулась. Неужто сам царь?..

Она впервые видела его; широкоплечая, непомерно высокая фигура показалась ей устрашающей. Даже и мысли не мелькнуло попросить о милости. За всю жизнь она не слышала о царе доброго слова, тем паче – в доме мужа. «Чертушка», «чертов выкормыш», «обменьш»¹⁰ – что проку просить такого о милости?

Устало опустила веки, чтобы огненные, черные глаза царя не жгли ее.

– Что ж сия молодая дама натворила, Петр Алексеевич? За что ее в землю? – вновь послышался мягкий иноземный выговор, однако ответил ему не раскатистый, рывкающий голос, а еще третий, прежде не слышанный Аленою:

– Что, что! Известное дело! Сжила со свету муженька – полезай, баба, живьем в могилу. Ее, бедолагу, уже никакие румяна не украсят.

– Суров русский закон! – с некоторым даже испугом протянул иноземец, на что царь отчеканил:

– Время нынче лихое, и шатание великое, и в людях смута. Без суровости никак, верно, Алексашка?

– Да, окаянное наше время... – эхом отозвался названный Алексашкою и вдруг молвил: – Простил бы ты ее, а, мин херц? Ну какая лихость в бабе, сам посуди? Верно, муж ее был до того нравом своеобразный, что бедная с горя ему и пересолила шей!

– Не одна она пересаливала, – сурово отозвался царь. – Вишь вон, висит, качается? Любовник ее. Какое уж тут с горя? По обдуманности!

– Да, – вздохнул Алексашка, – и верно, без обдуманности не обошлось. Ну, тогда... – Он запнулся, перевел дыхание и тихо попросил: – Тогда вели ее хоть пристрелить, что ли? Мыслимое дело – женщину в землю живьем! С предателями да шпионами на войне расправа короче, а она все ж таки баба... сырая плоть! А смерть медленная, мучительная... Освободи ее, мин херц!

– Эй, служивый! – крикнул Петр караульного, верно согласившись с просьбою своего фаворита, однако немец вновь подал голос.

– Скажу вам, ваше величество, не как слабодушный человек, а как боевой генерал, – твердо, сухо произнес он. – Не подобает солдату стрелять в женщину, притом осужденную на смерть. Этим он позорит оружие свое, назначение и чин коего – победа над неприятелем достойным.

Петр хмыкнул:

– За что люблю тебя, Франц, так за складные да ладные твои речи. Слыхал, Алексашка? Не будем же позорить доброго солдатского ружья и пачкать честных рук в крови. Ну что ж, прости, баба, и прощай. Даст Бог и тебе смертушку. А нам, господа генералы, мешкать тоже не способно. По коням!

¹⁰ Так называют детей, рожденных от леших, или тех, кого нечистая сила подсовывает в колыбели вместо украденных долго не крещенных младенцев.

– Прости, сестра! – совсем близко, над самым ухом, торопливо прозвучал шепот Александры – верно, не погнушался он склониться перед несчастной умирающей. – Прости-прощай, не поминай лихом! Уповай на Бога!

Зазвенели шпоры, затопали кони, и вновь на Алену навалилась тьма.

Ночь... Эту ночь она не переживет.

Верно, она уснула, а может, впала в забытие, только почудилось Алене, будто стоит она в батюшкином дворике и глядит на сарай. На крышу его вечером, при заходе солнца, всегда прилетали журавли. Самец поджимал одну красную лапку и трещал несколько минут своим красным носом.

«Журавли богу молятся, – слышался ласковый батюшкин голос. – Пора ужинать. Собери на стол, Аленушка, да гляди платье не замарай! Больно хорошо на тебе платье!»

Алена опускает глаза – и в изумлении ахает. Не то слово – хорошо на ней платье! Белое, белоснежное, и так же искрится все, как снег под солнцем морозною порой.

Откуда оно? Отродясь у Алены этакой красоты не было! И мыслимо ли дело войти в этом ослепительном одеянии в их чумазую летнюю кухоньку? Надо поскорей снять платье, переодеться. Алена пытается отыскать пуговицы или иные какие застежки, но пальцы не слушаются.

«Не снимешь его! – злорадно хохочет взявшаяся откуда-то Ульяница. – Это саван. Тебя в нем на жальник-то¹¹ и сволокнут!» – «Нет, не саван, – твердо говорит отец. – Надевать на себя во сне что-то белое – это знак, предвещающий освобождение от ложного обвинения, оправдание оклеветанной невинности!»

«Сон! Так это сон! Я еще жива!»

Алена открыла глаза – и тут же сильно зажмурилась, надеясь вновь услышать голос отца, но совсем другие звучали теперь над ее головой. Один принадлежал караульному, другой голос был женский, и до того мягкий, ласковый, что онемелые губы казнимой чуть заметно дрогнули в блаженной улыбке.

– Да неужто за нее никто и словечка не замолвил?!

– Не замолвил, матушка. Не было за нее ничьего упросу – только наветы и оговоры.

– А ведь она спасала свою жизнь...

– Вам-то, матушка, сие почем знать?

– Уж я-то знаю, служивый, уж я-то знаю! Поэтому и пришла сюда: чтобы спасти от смерти безвинную, которую к гибели побоями да зверствами привел богоданный супруг!

Оцепенение, владевшее Аленой, враз схлынуло. Она открыла глаза и увидела над собою две тени: долговязая, трясущаяся – это караульный. Другая... Сквозь набежавшие слезы Алена с трудом различала фигуру высокой статной женщины в монашеской одежде. Свет месяца, прорвавшийся сквозь набежавшие тучи, блеснул на пяти крестах, вышитых на куколке – черном покрывале схимницы.

– Ты, матушка, к чему речь ведешь, не пойму я, – дрожащим голосом пробормотал солдат. – Вот те крест святой, не пойму!

– Вот приказ, – достав из широкого рукава, монахиня протянула ему бумагу. – Приказ самого князя-кесаря Федора Андреича Ромодановского на то, чтоб отдал ты мне скверную женку, душегубицу Алену, и быть ей постриженной, а буде она волею не пострижется, то неволею ее постригут!

– В монастырь, стало быть, – пробормотал солдат. – Ну что ж, лучше живой в черной рясе, чем неживой в белом саване! – И махнул рукою товарищу, боязливо маячившему поодаль: – Неси заступ, Никола! Отрывать ямину будем.

Темная фигура близко склонилась к Алене, и лунный луч вновь заиграл на пяти крестах.

– Не бойся, дочка, – ласково сказала монахиня. – Я пришла тебя домой забрать...

¹¹ Общая могила при дороге для преступников и бродяг (старин.).

Ангел осенил землю своим чудотворным крылом и вновь вознесся к небесам! Не прошло и двух недель после Аленина спасения, как матушка Мария занемогла и на другой же день преставилась, едва успев открыть Алене тайну ее чудесного спасения.

– Никому не говорила, а тебе скажу, – бормотала она едва слышно. – Я ведь не родилась матушкой-игуменьей, нет, не родилась! Жила я когда-то в миру, звалась честной вдовой купеческой, и была у меня дочь – цветик ненаглядный, Дунечка. Скромно жили мы, а все ж наследство мужнино мало-помалу расточилось, и когда присватался за Дунечку богатый человек, я только обрадовалась и благословила ее. Не знали мы с доченькой, да узнали вскорости, что был он человек пьянствующий. Укоренилась в нем сатанинская злоба от безмерного хмельного упивания. Заведомо ждал он от Дунечки всего худого и злого, и не было ей пощады от его кулаков. Дунечка меня, бывало, просит: «Забери меня домой, матушка! Страшно мне!» – а мне и самой страшно против ее хозяина пойти. Вот и наказал меня Бог за трусость, за безропотность... Однажды приснился мне мой зять, злорадно ухмыляющийся. А поутру узнала я, что он убил до смерти жену свою, дочь мою Дунечку, минувшей ночью. Сослали его в каторгу, да что! Дитя мое не вернешь.

– Да чтоб ему вечно на том свете в смоле гореть горячей! – всхлинула Алена.

– Может, теперь уже и горит, – кивнула мать Мария. – Было это тридцать лет тому назад.

– Мать честна! Тридцать лет назад! – с испугом проговорила Алена. – Да как же ты эти годы прожила, матушка?

– Горе свое молитвой смиряла. Но, отправившись на служение Господу, дала я некий обет... и вот узнала, что пришла пора сей обет исполнить.

– Как же ты это узнала?

– А сон увидела. В точности тот же сон, что и перед смертью Дунечкиной! Только хохотал злорадно другой мужик, столь же злообразный, исполненный лютой. И поняла я: срок настал другую жертву спасти.

Вскоре после этой исповеди матушка Мария умерла, и Алена оплакивала ее, как родную мать, которой даже не помнила: по словам отца, ту задрал медведь, когда девочке и пяти годочков не было. Сгинул вместе с матушкой и новорожденный младенец, младший брат Алены.

– ...Разве я уже велела тебе воду принести? Только после указа моего тебе следовало за бадью браться! А ты почему посмела своевольничать?

Резкий громкий голос заставил Алену отвлечься от воспоминаний и содрогнуться. Тело вмиг пошло ознобными пупырышками. Лютый страх постоянно снедал ее в присутствии сестры Еротиады, до назначения новой игуменьи получившей полную власть в монастыре.

– Но как же? – пролепетала Алена. – Вы, сестра, задерживались в кладовой, мне указа дать было некому. А ведь полдень скоро, нипочем не поспеть с обедом, кабы я ждала.

– Нет, нет! – покачала головой Еротиада. – Так в монастыре не живут! Ступай-ка ты эту воду вылей под гору и принеси другую. Да помни: в другой раз не самочинничай, ведь это дело вражье!

Алена слабо улыбнулась, не поверив своим ушам. Быть того не может, чтоб это говорилось всерьез! Ведь ей нипочем, хоть бегом бегай туда и обратно, не поспеть теперь в срок до трапезы! Двадцать раз – воду вылить всю, да двадцать – новой принести... Нет, немислимо такое!

– Ну, а коли из-за тебя запоздает нынче трапеза, у каждой сестры на коленях будешь молить прощения! – продолжала сестра Еротиада.

– За что? – выдохнула Алена, не постигая, почему Еротиада так поступает с ней.

Та вскинула подбородок:

– Тебе мало, за что прощения просить?! Небо принадлежит Богу, а земля – дьяволу. Ты же из земли взята. Помни об этом, убийца! Спасена, да не прощена – вот о чем помни!

Алена опустила глаза.

Спасена, да не прощена... Она никогда не забывала об этом. Только прощать ее было не за что. Не за что! Ведь там, в пыточной, она оговорила себя, пожалев Фролку!

А был ли он достоин ее жалости, он, исполнявший страшные приказы Алениного мужа?

В первую брачную ночь Никодим, отчаявшись пробудить к жизни свое бессильное естество, жестоко избил Алену, а потом кликнул вернейшего прислужника, управителя Фрола, и приказал ему тут же, на широкой и пышной супружеской постели, «распечатать эту дрянную закупорку».

Фролка в первую минуту не поверил ушам, а потом не поверил своей удаче. Он давненько уже поглядывал на Алену с тайным вожделением и втихомолку завидовал хозяину, заполучившему не только имущество дочиста разоренного им простака Светешникова, но и его дочь-красавицу, – и вот теперь она, беспомощная, в полной его власти! Фролка исполнил требование хозяина, однако тот остался не просто недоволен, но взбешен:

– Кровя-то где?

Никодим таращился на смятые простыни, ища – и не находя на них следа растоптанного девичества.

– Порченную подсунули! – ткнул он кулаком в мягкий женский живот. – Гулящая, баба богомерзкая! Кто ж тебя распочинал? А ну, говори!

Всю ночь по дому разносились женские стенания и отборная мужская брань. На другую ночь у Никодима Мефодьича с молодой женкой дело вновь не слаживалось – до тех пор, пока он не позвал ключника и не натешился созерцанием того, как сей молодой услужливый кобель отрабатывает службу. Так оно и повелось, и велось все три недели Алениной замужней жизни. И каждый день она была жестоко бита!

Соседи, слыша ее крики, думали, что Никодим один раз уже овдовел – не миновать и в другой раз ему вдоветь!

Фролка поначалу только и старался, что плоть свою ублажать да хозяйскую лютость тешить, но напоследок раз или два попытался неприметно для Никодима приласкать свою жертву: погладил ее по голове, а потом даже легонько мазнул губами по щеке. Он стал жалеть Алену. С чего иначе как-то раз предложил хозяину дать ей водки, прежде чем он, Фролка, примется исполнять еженощную свою «работу»? И еще пробормотал Алене на ухо:

– Выпей, не мучь себя! Страшно видится, а выпьется – слюбится.

Да, Фрол иногда проникался к Алене сочувствием. И Ульяна знала об этом, знала наверняка! Или почуяла что-то, углядела своим острым, черным, ведьминым взором? Фрол сам себя выдал. Когда, увидев мертвого брата и завопив:

– Убивица! Душегубица! Извела-таки его! Извела! – она вцепилась Алене в волосы, Фрол оттащил сестру хозяина и хоть не сказал ничего – не успел! – проницательной Ульяне не стоило труда догадаться и о том, что было, и о том, чего не было, не замедлив закричать:

– Караул! Убивают!

Глава вторая

Старинные дела

Алена, конечно, не успела в срок наполнить бочку, и все вышло именно так, как грозились сестра Ерогиада: пришлось смиренно склоняться перед каждой сестрой, винясь, что обед запаздывает по ее, Алениному, своеволию и дьявольскому наущению. Сестры глядели хмуро, поджимали губы – в точности как Ерогиада! В обители ходили слухи, что именно она будет назначена на пост игуменьи, а потому, зная склочную, мстительную натуру трапезницы, уже сейчас с ней опасались портить отношения.

Ерогиада не сомневается, что никто, кроме нее, не достоин нового назначения. Среди других монашек, служивших Господу с большим или меньшим прилежанием, она выделялась своей истовостью. Высокая, худая, с блестящими глазами, она наводила невольный страх на всех, кто с ней встречался, а уж норовом была... Такая игуменья – похлеще адовых мук!

Эти мысли не шли из Алениной головы весь день, и уже на закате, когда она наконец рухнула без сил на свой топчан в каморке близ трапезной, продолжали терзать ее.

Она всегда боялась монашества – тем страхом, который испытывает свет перед тенью, а всякая земная, исполненная жизни женщина – перед добровольным отречением от всех плотских радостей. Конечно, Алена их мало видела в мирской жизни, этих самых плотских радостей, но все-таки был единый разочек... был!..

Будь жива матушка Мария, Алена безропотно согласилась бы на постриг. Ведь только при этом условии была она отдана князем-кесарем Ромодановским из своей могилы на воскресение. А нет пострижения – стало быть, Алена по-прежнему разбойница, лиходейка, государева преступница...

А впрочем, она не сомневается: даже если с охотой пойдет на постриг, клеймо убийцы вечно будет рдеть на ее челе, лишь слегка прикрытое клобуком. Как бы ее ни окрестили в новой жизни, какой-нибудь там Сосипатрой, для всех она останется грешницей, которую Господь простил в своей неизреченной милости... Но ведь она не виновна!

Уж кому-кому, а Богу ведомо, что Алена невинна, что не убивала она мучителя своего! А вот кто его воистину убил – сие один Бог знает да его святые. Кому внушил Никодим столько ненависти, чтоб смог тот человек невидимкою пробраться в дом и влить злое зелье не в общий горшок со щами, перетравив таким образом всех домашних подряд, а в особую бутылочку с заморским сладким вином, из коей Никодим всегда выкушивал чарочку после обеда и берег ту бутылочку в особом сундуке, под ключом? Кто мог знать об этом, кроме его жены, управляющего или сестры? Ну, додуматься, будто Ульяница, живущая только братниной защитой и щедростью, вдруг поднимет на него руку – нет, это чепуха. Алена этого не делала. Неужто Фролка?! Как узнать? И пытаться ли узнавать? Может быть, смириться? Принять участь свою с благодарностью? Склонить голову под монашеский черный плат – и постепенно, с течением лет, изгладятся мучительные воспоминания о побоях, насилии, горящем Фролке, тисках земляных, которые впивались в тело все крепче и крепче?..

О Господи, дай знать, что делать?!

А ведь как подумаешь, ничего она никогда сама не решала. Всегда как бы подталкивало ее что-то согласиться, подчиниться, смириться. Так же и замуж вышла.

Надея Светешников и его дочь Алена были с Никодимом Мефодьичем Журавлевым соседями. Алена его с детства знала, и всегда был он мрачен, неприветлив. А когда его жена померла после выкидыша, так и вовсе помрачнел. Впрочем, Светешниковы и Журавлев виделись нечасто: поначалу Никодим Мефодьич пушниной промышлял и уезжал в леса товар брать. А на лето уезжали Светешниковы: Надея был водочных и настояных дел мастером, государе-

вым помясом, и служил в Аптекарском приказе. Помясы – это травознаи, которые помогали московским и походным ратным лекарям. Всем государевым помясам жить предписано было только в Москве, а в другие места ездить по нарядам Аптекарского приказа. Так и Светешниковы езживали. Набирали помощников из местных людей по лесам и полям ходить, травы, корни, цветы брать. Потом на подводах отвозили все, что собрано, в Москву, а сборщикам платили.

У батюшки всегда были при себе немалые казенные деньги. С них-то и пошли все беды Светешниковых.

Случилось это в Москве. Шел Надея из приказа домой поздним вечером – напали лихие люди, ограбили. А ему через день отъезжать на Нижегородчину, травы собирать. Алена умоляла отца пойти повиниться, но он ни в какую. Пошел к соседу – к тому времени Никодим Мефодьич изрядно разбогател, бросил пушной промысел и начал потихоньку давать деньги в рост. Сговорились они, что по осени Надея долг вернет. Ему ведь по осени давали расчеты.

Но летом дела у Светешниковых совсем худо пошли. После Иванова дня (при воспоминании об этом дне, вернее, ночи, у Алены всегда перехватывало дыхание!) пошли дожди, сырье стало гнить. Многие из того, что в Москву привезли, было признано негодным. Ну, со сборщиками-то Надея расплатился. А в приказе сочли, что траты сырьем не покрываются, не говоря уже о том, чтоб о жалованье мечтать. Словом, вместо того, чтоб долги Никодиму отдавать, Светешников принужден был еще у него денег просить, чтобы в приказе недостачу выплатить.

Никодим дал денег, согласился ждать до новой осени... однако среди зимы вдруг начал долг требовать! Будто бы он тоже кому-то должен был... Завязались суд да дело – и вывели-таки Надею на правез как несостоятельного должника.

Ему должны были давать палкою ежедневно по три удара по ногам в течение полумесяца; долг составлял пятьдесят рублей. За сто – били бы целый месяц. За двадцать пять – неделю. За сей срок по закону всякому должнику предстояло рассчитаться с займодавцем. Если этого не происходило, продавали все его имущество, а вырученными деньгами удовлетворяли займодавца. Наконец, если и этого будет недостаточно для покрытия долгов, то самого должника с женою и детьми следовало отдать займодавцу в услужение, причем службу эту оценивали только по пяти рублей в год за мужчину и половину этого – за женщину.

Алене не дано было узнать, как все свершилось бы, происходи оно в точности по законному раскладу. Но отец ее, высокий, ладный, красивый Надея Светешников, за эту зиму от терзаний душевных преждевременно состарившийся, после одного-единственного удара по ногам пронзительно вскрикнул, схватился за сердце – да повалился замертво, и Алена, прорвавшись сквозь стражу и подбежав к недвижимому отцу, с ужасом смотрела, как багровеет, а потом чернеет его лицо.

Боли позорной не снес ли Надея, или в его перетруженных неустанными долготлетними хождениями по лесам и полям ногам вдруг сорвался с места сгусток крови и закупорил жизнетворные токи? Сие осталось неведомым. Теперь он был свободен от всех своих земных долгов, и Алена осталась перед их лицом одна.

Конечно, домишко их со всем скарбом перешел во владение Никодима Мефодьича. Алена была так напугана внезапно свалившимся на нее одиночеством, так ошарашена бездомностью, что почти с благодарностью приняла участь свою: служила в доме займодавца, отрабатывая непокрытый долг. Спустя месяц черной изнуряющей работы Никодим к ней посватался. Алена отвергла его не столько с отвращением, сколько с изумлением: тридцатилетняя разница в возрасте казалась ей не только чудовищной, но и позорною.

И тогда Никодим показал ей расписку. Алена едва узнала руку отца в корявых, скачущих строчках:

«А буде я, Надея Светешников, на тот срок денег не выплачу, ему, Никодиму Журавлеву, той моей дочерию Аленою владеть и на сторону продать и заложить...»

Как, какими посулами или угрозами вырвал Никодим у Светешникова сию кабальную запись, Алене было неведомо. Она знала одно: отец и ее сделал заложником! Кажется, это открытие подействовало на девушку даже пуще его смерти. Почти лишившись способности здраво соображать, Алена более не перечила властному соседу, хотя и по сию пору не понимала, зачем понадобилась свадьба: девка могла принадлежать ему и блудно. Конечно, Никодим мечтал о сыне, однако чем прельстила его Алена? Сей вопрос более всего занозил и раздражал Ульяницу. То-то она и мстила как могла ненавистной жене братовой...

Алена так и не сомкнула глаз до рассвета. Что делать, что делать – только о том и думала! Пугающие мысли о будущем мешались с тяжкими воспоминаниями, и она изошла бы горькими слезами, когда с тех воспоминаний не пробилось одно – то самое, от которой у нее всегда перехватывало дыхание.

Глава третья

Иванова ночь

... Накануне, на Аграфену-Купальницу¹², Алена вволю напарилась с хозяйскими дочками в бане. Они тогда с отцом стояли постоем в Любавине, небольшой деревне близ Нижнего Новгорода. Потом Алена с девками полезли на крышу бани: веники кидать. Старинное гадание, очень в него жительницы Любавина верили!

Девки, затаив дыхание, глядели, куда упадут вершинами: к селу или к погосту. Упадет к погосту – непременно же на этот год помрешь, ну а к селу – жива останешься. Ничей веник, слава Богу, не указал на скорое прекращение жизни, да еще и другим девки были озабочены: куда веник комлем упадет. Ведь в ту сторону замуж идти!

Веник Матрешки указал на поповский дом, и она не смогла скрыть своей радости. Так же возликовала Антонина, чей веник указал на избу старосты. Алена вспомнила румяного, улыбочивого поповича, потом весельчака, певуна старостина сына – и порадовалась за подружек. Свой веник она бросать не хотела – знала, что в этой деревне, даром что зовется она Любавино, судьбы ее нет, – но девки пристали как банный лист. Покорившись, Алена кинула не глядя – и через мгновение раздался дружный хохот сестер: веник комлем точнехонько указывал на лес.

– Ну, знать, вековухой мне по лесам бродить, травы брать, – усмехнулась Алена, другой участи себе никогда и не желавшая, однако девки веселья ее не разделили.

– Не ходила б ты нынче в лес, Аленушка, а? – робко попросила беленькая, ласковая Матрешка. – Не ровен час, леший...

– Лешие в такие ночи сами стерегутся. – уверенно возразила Алена. – Завидят, как лихие мужики и бабы в глухую полночь снимают с себя рубахи и до утренней зари роют корни или ищут в заветных местах клады, – и со страху забиваются в свои берлоги, ждут, пока Аграфена да Иван минуют, а люди в разум войдут.

– Опасно шутишь, девонька, – сердито сверкнула на нее зелеными глазами Антонина. – Знаешь, что было с Парашей, одной нашей деревенской девкой? Она собиралась пойти по малину; мать не велела, иди, мол, белье катать, – но она все ж пошла. Мать осердилась и крикнула ей вслед: «Понеси ты леший!» И в лесу он-то, названный, к ней приладился... То есть она, конечно, не знала, что это леший: он ведь принял облик ее родного дядюшки. «Пошли, говорит, скорее, выведу тебя на таковое место ягодное, что все подружки обомрут от зависти, когда воротишься». И пошел со всех ног. Параня наша едва за ним поспевала. Сперва, как она потом сказывала, себя бранила: почто всего один туесок взяла, да не великий. А потом глядь – отстает от дяденьки, ну и дай Бог ноги догонять. А он до того идет ходко да шибко, что нипочем не настигнуть. И, словно нарочно, все по яминам да по бурелому норовит.

«Дождись!» – просит Параня, а он все одно: «Иди скорее!»

Бегут и бегут. Параня уж зашла вся, о ветки изорвалась. Думает, что версты три уже прошли, как же тащить ягоду обратно в такую даль да по буеракам? Одну кашу малиновую только и принесешь! Думает так, а отстать не решается. И наконец видит себя среди превеликого малинника: ягоды как в сказке, одна в одну, вот такими шапочками! Только развязала туесок, вдруг слышит – в лесу смеется кто-то и спрашивает:

– Кого ведешь-то?

А он, дядька ее, как захохочет:

– Ха-ха-ха, кого ведешь? Параню!

¹² Аграфена-Купальница и Иван Купала – два народных праздника, следующих один за другим: 23, 24 июня по старому стилю и 6, 7 июля по новому.

Как сказал это слово, так и сделался большой-пребольшой и пошел по лесу, а сам все хохочет да ладонями хлопает.

«Мать честна, – догадалась Параня, – да ведь это сам леший!» Кинула туесок – и прочь из малинника, да не сделала и двух шагов, как очутилась в преглубокой болотине, такой, что куда шагу ни сделаешь, всюду по горлышко. Взгромодилась она на кочку и ну кричать:

– Спасите, заливаюсь!¹³ Спасите, кто в Бога верует!

А в ту пору наши бабы с покоса шли. Слышат – кричит кто-то благим матом. Побежали на крик, глядь: на околице, на перекладине, сидит Параня с туеском в обнимку и блажит не своим голосом:

– Спасите! Заливаюсь!

Насилу очухалась и поняла, что ни в какой она не в болотине и не водил ее «дядька» в малинник за пять верст, а вокруг околицы кружил. У нас над ней с тех пор долго смеялись. Чуть завидят с кем-нибудь вдвоем, тут же кто-то найдется спросить: «Кого, мол, ведешь?» Ну как тут не ответить: «Ха-ха-ха, кого веду? Параню!» С того смеха и замуж ее никто не брал: мало ли что там леший с ней сделал, у той околицы! А ну как стыдное? Мать того и ждала, что Параня вот-вот принесет в подоле невесть какую чуду, да обошлось. По счастью, присватался к ней вдовец из соседней деревни, так Параня за него не пошла, а бегом побежала!

– Так же вот она и за дядькой бежала небось, – пробормотала Алена, и девушки зашлись от хохота.

– Да нет, Параня оказалась нетронутая, и мужик очень ею гордится. И дети у нее все очень хорошие, – усмехнулась Антонина. – А все ж ты знай, девка, что в лесу бывает с теми, кто больно умничает!

– Ну, меня ж не проклинали! – отмахнулась Алена. – Ни мне до лешего, ни ему до меня.

– Гляди, гляди... – в сомнении пробормотала Антонина, а беленькая Матрешка жалючи перекрестила Алену, и даже слезы выступили на ее голубеньких глазках, словно лихую подружку уже обвевал своим вихрем леший в опасную Иванову ночь.

То, что купальская ночь была волшебная, чародейная, Алена и без них знала. Отец рассказывал, что в эту ночь деревья переходят с места на место и разговаривают между собой; беседуют друг с другом животные и даже травы, которые этой ночью исполняются особой чудодейственной силой, отзываются на звук человеческого голоса и даются знающему в руки.

В прошлые года отец брал Алену с собою, но ни одно из чудес купальской ночи ей тогда не открылось. Надея уверял, что для сего потребно полное одиночество человека. И нынче ночью Алена собиралась пойти в лес одна.

Кузнечики еще стрекотали в душистой траве, слышался порою шелест крыльев пролетающей в синем сумраке птицы, доносился однообразный крик перепела, однако чем дальше уходила Алена в чащу, тем тише становилось вокруг. Деревья стояли недвижимо, и Алене чудилось, будто они не то что говорить – дышать переставали при ее приближении! «Ну, ничего, – утешала она себя. – Может быть, потом, когда они ко мне привыкнут, разговорятся...»

Она сошла с тропы, и теперь только тихое сияние звезд рассеивало кромешную тьму. Впрочем, глаза скоро привыкли к черной ночи, освоились с ней, и Алена увидела, что вышлатки на чудное, зелейное место, которое присмотрела для себя еще загодя, но сдерживала искушение собрать здесь травы, зная, что только в Купальскую ночь исполнятся они высшей силы. И вот время пришло!

¹³ Тону (старш.).

На всякий случай держась левой рукой за крестик, она взглянула на небо, потом низко поклонилась и тихо, пугаясь звука собственного голоса, принялась нашептывать заговор, который травознаи произносят только раз в год: в заветную Иванову ночь.

– Отец-небо, земля-мать, благослови свою плоду рвать, – бормотала Алена, с трудом удерживаясь, чтобы не оглянуться и убедиться в том, что никто не стоит сзади и не глядит ей в спину разноцветными – один желтый, один зеленый – лешачьими глазами. – Твоя трава ко всему пригодна: от скорбей, от болезней, от всех недугов – денных и полуденных, ночных и полуночных, – от колдуна и колдуницы, еретика и еретицы! Поди же ты, колдун и колдуница, еретик и еретица, на сине море! На синем море лежит бел-горюч камень. Камень тебе замок вековечный. Земля-мати, благослови меня травы брати – колдуну на уничтожение, доброму люду на исцеленье. Аминь!

Сказав слово заговорное, Алена опустилась на колени, пытаясь в зыбком звездном свете различить, какая трава льнет к ее рукам. Многие из них – тирлич, чернобыльник, одолень, плакун, зяблицу – надлежало брать с особым приговором, не говоря уже о червонной папороти – золотом папоротнике, жар-цвете, найти который мечтает в Иванову ночь всякий травознай, да не всякому он дается. С цветком папоротника можно увидеть все клады, как бы глубоко в земле они ни находились. Но взять такой цветок еще труднее, чем самый заклятый клад. Около полуночи на широких листьях папоротника внезапно появляется почка, которая поднимается все выше и выше, а ровно в полночь она разрывается с треском – и взорам представляется огненный цветок, столь яркий, что на него невозможно смотреть. Невидимая рука срывает его, а ошеломленному человеку почти никогда не удается это сделать. Вдобавок, вся нечистая сила собирается в это мгновение к месту, где расцвел жар-цвет, и гомонит, и шепчет, и щебечет, и наводит призраки, чтобы отпугнуть, не допустить человека до чудодейного цветка. Что клады! Бессильны самые мощные правители пред владельцем червонной папороти, и нечистые духи в полной его власти, и все двери сами растворяются пред ним, стоит только приложить к замку чудесный цветок...

Алена настолько очаровалась воображаемым видением, что сердце ее неистово забилося, когда внезапный отблеск нарушил кромешную тьму леса за ее спиной. Обернувшись с восхищенным криком, простирая руки, – и замерла, разочарованная: нет, не царь-цвет зацвел, а зарево дальних костров играет за деревьями!

Алена в отчаянии огляделась. Деревья насупились, отодвинулись от нее. Колдовское очарование тайны развеялось. Травы словно бы померкли, и Алена всерьез испугалась, что они вмиг утратили все свои чарующие свойства.

Отец учил, что если уединение зелейника в Иванову ночь нарушено, лучше поскорее уйти на другое место и там снова просить у земли и неба подмоги. Алена с неохотой поднялась с колен, поклонилась полянке и уже пошла было в ночную, глухую, кромешную тьму, как вдруг неодолимое, необъяснимое любопытство овладело ею. Позже, вспоминая этот миг, она всегда изумлялась все-властности силы, свернувшей ее с тропы и заставившей пойти на свет костра. Алена злилась, ругала себя на чем свет стоит – но шла и шла.

Зачем, спрашивается? Она ведь заранее знала, что там увидит: толпу девок и парней, которые плясали вокруг костров, прыгали через них (кто удачнее и выше – тот весь год будет счастливее!), обвязывали соломой старые колеса и спускали их с горы.

Девки бежали к реке, голося песню:

Ой, кто не выйдет на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню!
Ой, тот будет пень-колода,
Ладу-ладу, пень-колода!

Из-под обрыва раздавался истошный визг, плеск.

Алена стояла недвижимо, прислонясь спиной к березе, и отчего-то вдруг почувствовала себя страшно одинокой, особенно когда увидела невдалеке от себя пару, слившуюся в жарком поцелуе. Парень нетерпеливо потянул девку на землю, но она гибко вывернулась:

– Венки пускать хочу! Пошли, Егорушка! Узнаю, так ли я тебе любя, как ты сказываешь!

Парень недовольно вздохнул, сунул руки за пояс.

– Ты кому веришь? – спросил угрюмо. – Траве? Воде? Или мне?

Девушка оглянулась через плечо и засмеялась:

– Трава и вода скорее правду скажут, чем ты, Егорушка!

В голосе ее вдруг зазвенели слезы, но девушка тут же задорно рассмеялась.

– Не ходи к реке! – погрозил с притворной сердитостью парень, явно спеша увести разговор с опасного направления. – Наткнешься на водяного – он таких вот дурочек в Иванову ночь подкарауливает – и не воротишься более домой.

– Это я-то дурочка?! – взвилась было девушка, но парень изловчился, поймал ее за руку, дернул к себе – и все ее возражения были заглушены поцелуем, столь долгим, что Алене тошно стало глядеть, как беззастенчиво лапает девку парень, и она решила, что может безопасно уйти.

Она еще поглядела с отвращением, как Егор начал задирать девке сарафан, норовя поближе подобраться к пышному заду, как вдруг Аннушка опаматовалась – и снова выскользнула из его не в меру прятких рук.

– Ну и охальный же ты бессоромник! – воскликнула она, отпыхиваясь и одергивая юбку. – Верно, жеребец твой без узды.

– А то! – задорно усмехнулся Егор. – Так и просится в стойло – того и гляди портки порвет!

От такой прямоты Аннушка словно бы потеряла дар речи, а Алена чуть не прыснула. Уж больно явственно было видно, что Аннушка раздражаема двумя равно жгучими желаниями: пустить этого нетерпеливого жеребчика в свое стойло – и еще немножко подержать его в ожидании. Конечно, если б Егор прямо сейчас же на нее набросился... Но он стоял, поигрывая плечами, переминаясь с пятки на носок, и Алена смущенно хихикнула, углядев, что просторные портки его и впрямь взбугрились на том самом месте, куда первым делом вперивает взор всякая баба, даже будь она и самая что ни на есть праведница, чуть только встретит приглядного мужика. Ибо там растет орудие дьявольского искушения, и ежели праведницы дрожат: «Не искушает ли меня окаянный враг?!» – то прочие бабенки нетерпеливо притоптывают: «Неужто окаянный враг и не собирается меня искушать?!»

У самой Алены парня никогда не было, ее и не целовал никто, она дичилась мужчин, однако сейчас с некоторой обидой подумала, что никто из них ведь и не проявлял особой настойчивости. Будь кто-то из ее знакомцев, скажем, хоть чуть-чуть схож повадками с этим наглецом Егорушкой, может, Алене и нелегко было бы по-прежнему дичиться против этой веселой, ухарской настойчивости. Хотя... похоже, Аннушке удалось-таки его остудить!

Девка вроде бы и сама не в шутку забеспокоилась внезапной сдержанностью дружка, но не на шею же ему кидаться! Поэтому она, сделав неприметный шажок в его сторону, начала равнодушным голосом разговор, как бы не имеющий никакого отношения к ее намерениям.

– А вот и нет здесь никакого водяного! Возле мельницы, внизу по течению, слышала, и впрямь видели омутника, а в наших местах – нет!

– А вот и есть! – опасно усмехнулся Егор. – Мне на днях бортник Степка сказывал, а ему – братан его, он рыбным живет промыслом. Вот и говорил... ловили-де они раз рыбу. И так-то хорошо стерлядка шла, что, когда наступила ночь, не стали они ворочаться в деревню, а сладили шалашик и легли спать: мол, утром опять невода потянем. Легли, да... а рыболовную снасть свою всю оставили на улице. И вдруг слышат среди ночи: кто-то шарится за стеною шалаша. Степкин брат и спрашивает:

– Кто, мол, это шарится здесь и чего тебе надобно?

И тут голос с этаким подвывом спрашивает:

– Ну, что вам, мужички, связать или развязать?

Мужички сразу догадались, что это не прохожий-проезжий, а сам водяной хочет подшутить над ними, и не знали, что сказать ему на это. Ушлих людей меж ними не было! Стали советоваться и решили ответить водяному – связать, мол!

И вот встали наши рыболовы поутру, глядь – а все их рыболовные снаряды: сети, морды, невода и прочее – посвязаны крепкими узлами, так что распустить их не было никакой возможности. Бились они, бились – и, не развязав ни узла, решили оставить все как есть до следующего утра, а уж там возвращаться в деревню.

Наступила ночь, наши-то забрались в свой шалаш, но не спят, а слушают во все уши. Только что улеглись, вдруг – чу! – кто-то опять шуршит за стенкою и спрашивает:

– Что вам, мужички, нынче – связать или развязать?

– Развяжи, родимый! – заблажили они в один голос в надежде, что дедушко водяной распутает им сети, однако, встав на следующее утро, увидели горемычные, что все невода и бродни были распущены на тончайшие нитки. С тех пор и перестали, сказывал Степан, ловить рыбу в этом месте, ибо шалил там водяной... а место сие, Аннушка, за излучкою, как раз там, где вы с девками свои венки пускаете – судьбу пытаете!

– Вон оно что!.. – изумленно протянула Аннушка, всплеснув руками, но тотчас же деловито добавила: – Стало быть, ты знаком со Степкой-бортником? Ужо я у Степки про тебя всю подноготную повыведаю!

– Да на что тебе Степка? – хохотнул Егор, однако Алене почудилось, что в его смехе зазвучала некая опаска. – Приласкай меня – я тебе и сам про себя скажу все, что захочу!

– Что захочешь! – со слезой повторила Аннушка, и парень, у которого явно иссякло терпение, позвал:

– Поди сюда! Ну! Не томи, Аннушка!

Голос его был так нежен, что Аннушка дрогнула, обернулась – и вдруг издала истошный вопль.

Егор вмиг оказался рядом, привлек ее к себе:

– Что ты? Что?

– Там... там... – бормотала Аннушка, остолбенело уставясь во тьму. Алена поняла, что девка увидела ее. Слишком близко подошла она к свету, гонимая вредным любопытством!

Егор выхватил из костра пылающую головню, швырнул в чашу, и она с треском пролетела совсем рядом с Аленой. Та перестала дышать, всем телом прижалась к березе, отчаянно надеясь, что ее белую рубаху примут за белый березовый ствол.

– Деревья одни, – сказал Егор, пристально вглядываясь в тьму. – Не вижу ничего.

Алена едва подавила смехок. Парень стоял в трех шагах и смотрел прямо ей в лицо! Значит, обман удался! Теперь только подождать, пока они уйдут... Но себе она могла признать, что очень не хочет, чтобы этот Егор уходил. Он взял из костра новую пылающую ветку, поднял ее над головой, и сейчас лицо его было ярко освещено. Алена как зачарованная глядела на длинные брови, сходящиеся к переносице. Здесь они топорщились смешным кустиком, что придавало этому напряженному, нахмуренному лицу какое-то мальчишеское выражение. Глаза его темно сверкали – цвета их Алена не могла разобрать, – но она с удовольствием глядела на чуть впалые щеки, напряженно поджатые губы, резко очерченный, хищный нос. В его лице смешивались недобрые мужские черты с мальчишеской открытостью выражения, и Алена вдруг поняла, почему этот незнакомец так привлек ее внимание. Он до боли был похож на мальчишку, которого она знала когда-то давно, много лет назад, которого пыталась спасти от страшной смерти – и спасла-таки! Но след его затерялся где-то на тропах земных, о нем

Алена с тех пор ничего не знала. Мыслимое ли дело, чтобы вдруг встретить его здесь, в лесах Нижегородчины... в обнимку с другой!

Алена нахмурилась: она столько думала о нем, столько воображала их нечаянную встречу, а он... Да нет, пустое это сходство! Глупо сердиться на незнакомца, который милуется со своей зазнобушкой, глупо ревновать встречного-поперечного. Сейчас они пойдут своей дорогой – уйдет в лес и Алена. А пока еще хоть минуточку поглядеть на него, такого высокого, ладного да пригожего...

Меж тем Аннушка, которая вроде бы только и мечтала убежать к подружкам и пускаться с ними венки по воде, гадая на любовь, заметила, что ухажер утратил к ней интерес, – и поспешила вернуться к нему.

– Чего уставился? Кого там углядел? Небось русалку? Гляди, одурманит... себя забудешь!

– Забыл уже, – пробормотал Егор, и у Алены дрогнуло сердце, когда она поняла, что парень, может статься, все-таки разглядел ее.

– Да ну, нет там никого! – схватила Анна его за руку. – Ночь одна!

– Ты же сама сказала, что там кто-то был, – мягко высвободился Егор.

– Да ну, померещилось, – сердито пробормотала Анна, перехватывая другую его руку. –

Померещилось, говорю!

– Вот и мне мерещится, – высвободил и эту руку Егор. – Дай разгляжу, что.

– Ну, ведьма лесная! – недовольно фыркнула Анна. – Прикинется девкой, а схватишь ее за косу – старуха.

– А вот я попытаю! – вдруг гаркнул Егор, срываясь с места так резко, что Аннушка едва удержалась на ногах. – Поймаю и попытаю!

Зазевавшаяся Алена пришла в себя, когда Егор был уже почти рядом, и молча метнулась в сторону.

– Вижу! Вижу! Стой! – торжествующе завопил Егор, и Алена с досадой подумала, что надо было просто упасть в кусты и отлежаться, пока он не проскочит мимо, а теперь ее белая рубаха отчетливо видна в темноте, и жаркое дыхание почти на ее плечах, и ей нипочем не уйти от него, такого прыткого, быstroногого...

Только подумала – а он уже схватил ее за косу, развевающуюся за спиной, намотал на руку, притянул к себе.

Алена тихо ахнула от боли и злости, но подчинилась: как бы косу не оторвал!

– Егорушка! – жалобно закричала издали Анна. – Где ты?

Егор чуть ослабил хватку, так что Алена смогла оглянуться – и увидеть, как он помотал головой: молчи, мол!

– Нашел ведьму? – плаксиво окликнула Анна. – Нашел, Егорушка?

– Нашел, нашел, – чуть слышно прошептал тот, и Алена увидела, как блеснули его зубы: он улыбался. – Шел, нашел...

– Потерял, – докончила Алена всем известную считалку про лешего и рванулась что было сил, рискуя половину волос оставить в руке Егора. Она не ошиблась: от неожиданности его пальцы разжались – и выпустили косу. Однако он тут же спохватился – и ринулся за Аленой, бегство которой окончилось, едва начавшись: она наступила на подол – и повалилась на землю.

Егор тут же споткнулся, рухнул на нее. Алена слабо вскрикнула – и лицо Егора склонилось над ней с озабоченным и враз насмешливым выражением:

– Что? Костыньки поломал?

– Егорушка-а! – не дал ей ответить истошный вопль Анны. – Куда это ты запропал? Или тебя ведьма на Лысую гору унесла? – И она запела, словно пытаясь дрожащим голосом разогнать свои страхи:

Зарождались три ведьмы
На Петра да на Ивана:
Первая ведьма закон разлучает,
Другая ведьма коров закликает,
Третья ведьма залом ломает!

Алене от ее голосишка стало вдруг так смешно, что не удержалась – залилась мелким хохотом. А когда почувствовала, как сотрясается от такого же хохота мужское тело, крепко придавившее ее к земле, – и вовсе зашлась. Егор уткнулся лицом в Аленино плечо, выдыхал жарко, тяжело:

– Ой, не могу! Чего ж ты хохочешь-то?

– А ты? – задыхаясь, чуть не плача, спрашивала шепотом Алена. – А ты чего?

– Ну и ладно! – вдруг донесся до них деловитый оклик Аннушки. – Ну и пусть... – И слышно стало, как она побежала под берег, громко распевая:

Вы катитесь, ведьмы,
За мхи, за болоты,
За гнилые за колоды,
Где люди не бают,
Собаки не лают,
Куры не поют —
Вам там и место!

«Куры не поют» почему-то было уж вовсе неумолимо смешно, однако ни у Алены, ни у Егора больше не было сил хохотать, и они просто лежали, с трудом переводя дыхание.

Успокоилась над ними, в вершинах, всполошившаяся была птица, и кузнечики при-
молкли, но беленькая кашка, склонившаяся к лицу Алены, пахла по-прежнему сладко-сладко,
и видно было, как трепещут звезды в прозрачной ночной выси.

Егор чуть приподнялся, с улыбкой взглядываясь в глаза Алены:

– Ты и правда ведьма?

– А тебе-то что? – лениво усмехнулась она. – Какая твоя забота?

– Да я, вишь, ни разу с ведьмами не целовался, – дернул он плечом, склоняясь еще ниже. – Пробовать боюсь.

– Боишься – так не целуйся, – с обидой попыталась вывернуться Алена. – Я вот тоже с трусами никогда не целовалась!

– Да ну?! – преувеличенно удивился Егор, опираясь на локоть и придавая своему лицу выражение великого любопытства. – А с кем же ты целовалась, скажи на милость?

– Ну... – растерялась Алена, которой, правду сказать, этого в жизни своей еще не приходилось делать. – С разными...

– С храбрецами-удальцами? – уточнил Егор. – Э, да ты лихая девка, я погляжу! А что ты еще с ними делала? – Словно невзначай он положил руку ей на грудь, и Алена замерла, ощутив, как взбугрился, ознобно встопорчился сосок. Заметил он? Нет? Как же не заметить, когда этот предательский бугорок уперся ему в самую ладонь!..

По счастью, Егор тотчас убрал руку, поправляя что-то у себя в одежде, и Алена быстро перевела дыхание. Только теперь она поняла, в какую опасную игру заиграла с этим не в меру веселым парнем. Разрезвились, как дети, а поди знай, что у него на уме! Только оттого, что он не в меру схож с воспоминанием детских лет, Алена держится с ним как подружка. Но что он подумает о девке, вольно валяющейся с ним на лесной поляне под покровом ночи? Что уже подумал? Нет, надо немедленно встать и отделаться от наглеца. Пускай догоняет свою Аннушку:

ведь понятно же, что его просто раззадорила смелая незнакомка, в то время как сердце его принадлежит другой.

Она коснулась его груди, пытаясь оттолкнуть, – и вздрогнула: под ладонью словно бы рваная борозда, которая прощупывается даже сквозь жесткий кумач.

– Ох, Господи! – тихо вскрикнула она. – Что ж это у тебя, Егорушка?!

Он ласково дунул ей в лоб, убирая разметавшиеся кудряшки:

– Ишь ты – Егорушка... Знаешь меня, что ль? А ты кто? Из какой деревни?

Алена поняла, что он намеренно уводит разговор.

– Зубы мне не заговаривай! – сказала сердито. – Рана у тебя там. Я помочь могу – я ведь лекарка! Шрам, что ли?

– Шрам давний, уж давно не болит. Медведь когтем царапнул. Хотел насквозь порвать, да Господь уберег, послал ангела... Ничего, теперь уж не больно – давно не больно. И бабам не боязно, иным даже нравится. Хошь поглядеть?

Словно бы иголочка кольнула Алену в сердце. Нет, это змейка-ревность ужалила. Отчего-то нестерпимо было думать про всех, с кем он так лежал, балагурил... уходил. Сейчас и от нее уйдет, и больше не будет этой тяжести, придавившей Алену к земле, – такой теплой, такой родной тяжести. И забудет о ней, и возьмет он другую за руку, поглядит ей в глаза так же долго, молчаливо, а потом вдруг скользнет губами по щеке и, вздохнув глубоко, словно решившись на что-то отчаянное, припадет к ее губам жадно, неуголенно...

Алена словно бы лишилась чувств в этом внезапном поцелуе. Но нет! Напротив, все чувства ожили, пробудились: никогда она так остро не чувствовала благоуханную земную твердь, в которую еще настойчиво вжимало разгоряченное мужское тело, и впервые запах не только трав и цветов касался ноздрей Алены, но и незнакомый, резкий мужской дух.

Он оскорблял ее – и ласкал. Заставлял задержать дыхание – и в то же время вдыхать все глубже. Отвернуться – и прикинуть, пытаться вырваться – и держаться крепче и крепче...

Она обнимала его. Руки скользили под рубашкой, ощупывая напряженные мышцы юношески худого, но широкоплечего тела. Она самозабвенно внимала нахлынувшему на нее новым ощущениям, но все еще противилась пожирающему натиску его рта. Чудилось, его губы, алчно вбирившие в себя весь ее рот, высасывают из нее все жизненные соки, оставляя взамен сладостную истому и туман, который застилал голову, одурманивал, и силы ее иссякали в том поцелуе. Уже мало было – лежать, разметавшись, страстно, самозабвенно впиваясь в его губы. Тело вздрагивало от резких, волнообразных движений его тела, и порою изо рта его в рот Алены врывались глухие стоны, словно и ему уже не в сласть, а в муку сделалось столь долгое и самозабвенное соитие губ.

Руки Алены вспорхнули над его спиной, вяло опустились на плечи. Вот как, она и не заметила, что плечи его обнажены... и обнажена спина ниже пояса. Чудилось, одежда сама собой соскользнула с него во время этих волнообразных движений... так соскальзывает змеиная кожа с мучителя женского, похотника, сладострастника Змея Огненного, оставляя распаленным объятиям женским искусительную красоту стройного тела, изгиб мраморных чресл – и твердую плоть, которая нетерпеливо стучится в ждущие врата...

Наконец содрогания двух тел стихли, и они мгновенно рухнули в неодолимый сон, в то обмиранье, которое всегда настагает любовников, осушивших чашу наслаждения сверх всякой меры – до дна.

В тот сон, который есть подобье смерти...

Глава четвертая

Побег

Алена проснулась от солнца, бившего в глаза, и долго еще лежала, подставляя лицо чудесным теплым лучам и уговаривая себя, что, конечно, это продолжается сон: ведь в монастыре ей назначено было подниматься затемно! Вот так же, при солнышке, проснулась она и тогда, в лесу, – и еще не успев открыть глаза, поняла, что одна... что он ушел. Иначе и быть не могло, и Алена не испытала ни обиды, ни горя, ни даже малой досады. То, что произошло меж ними ночью, было слишком таинственно и непостижимо. Их обоих словно бы молния пронзила, молния страсти! – слишком это было далеко от всего, что Алена прежде знала о жизни, чтобы подвергнуть ночной восторг испытанию обыденностью: опущенным взглядам, неуклюжести первых движений и слов. Алена знала, что им суждено еще раз встретиться. А если нет, они оба никогда не забудут течения звезд в вышине, и острого запаха травы, измятой их разгоряченными телами, и проникновения тел одно в другое, как будто их сердца не могли уже, не могли биться розно – и во что бы то ни стало им нужно было слиться, обратившись в одно, единое сердце, снедаемое пожаром неистовой любви.

«Вот и сбылось гаданье, – подумала тогда Алена с блаженной улыбкою, – я вышла замуж в лес!»

Цепочка темных следов протянулась по серебристой от росы траве, и Алена ощутила, что сердце ее готово вырваться из груди и полететь по этому следу. В это мгновение – одинокая, покинутая, изломанная, со следами крови на бедрах – она была счастлива, как никогда, и, как никогда, исполнена веры в будущее счастье...

Но жизнь взяла свое, и скоро эта ночь, и это утро, и это ощущение всепоглощающего блаженства превратились в ее памяти в крошечную искорку, которая то счастливо, то болезненно тлеет в самой глубине сердца... но сейчас вдруг снова разгорелась огнем, согревая оледенелую душу, озаряя разум, освещая путь надежде.

«На что это мне? – тихо спросила себя Алена. – Что дальше будет?»

– ...Все нежишься, ясочка? – ворвался в ее блаженную дрему насмешливый голос, и чья-то тень легла на лицо, заслонив солнце и вернув в мир тень и холод.

Алена вскинулась, безотчетно таща на себя съехавшую ряднушку.

Еротиада!

– А я нарочно тебя не будила – хотела поглядеть, каково далеко твое бесстыдство зайдет, – прошипела сестра трапезница. – Ну и ну, дальше некуда. Одевайся, да не мешкай. За непослушание – за просыпание быть тебе сеченой так, что надолго запомнишь, как послушничать!

Они вышли из каморки, вышли в коридор, и Алена вдруг наткнулась на взгляд молоденькой сестры-белицы¹⁴, прибывшей в монастырь лишь немногим раньше ее, и даже споткнулась: такая жгучая ненависть горела в том взоре. Зашелестел шепот, исполненный яду: «Убийца!»

Она прикусила губу. Вот что ждет ее – клеймо вековечное. И когда-нибудь Еротиада тоже, натешившись, пресытившись, бросит ей – может быть, без ненависти, равнодушно: «Убийца!» С тем и жизнь проживет она, с тем и умрет. Богу, может быть, и ведомо, что она невиновна, однако что-то не простирает он защитную руку, не осеняет ее венцом, не облакает

¹⁴ Белицы – те послушницы, которые живут в монастыре, но лишь готовятся к пострижению в монахини, в отличие от черниц.

белыми одеждами – знаком чистоты. Притом что Бог за всех, все-таки каждый за себя. И ежели Бог кому помогает, то лишь смелым!

Что же она бредет за Еротиадою, словно овца, обреченная на закление?..

Неприметно огляделась. В оконце видно было, что у привратницкой собралась черная стайка: сестры готовились идти собирать милостыню на новый храм. Сейчас ворота откроют.

Время!

Сейчас или никогда!

Еротиада прошла вперед, чтобы спуститься по ступенькам в подпол, назначенный для наказаний, и Алена с силой выбросила вперед ногу. Сестра-трапезница, получив внушительный удар в спину, полетела вниз, а Алена со всех ног понеслась на крыльцо.

О, слава те, Господи! Калитка еще не заперта, и стайка посланных за милостыней сестер лениво плетется по дороге.

– Погодите, сестры! Меня погодите! – взвизгнула Алена, срываясь с крыльца и летя по двору.

Мелькнуло лицо сестры-привратницы, искаженное тупым удивлением оттого, что какая-то послушница не шествует прилично-медленно, а бежит вприпрыжку, словно одержимая бесом, Алена выскользнула в калитку, задрала рясу чуть не до подмышек; взметнув голые ноги, перескочила огородный плетень – и понеслась по заросшим грядкам прочь от дороги, к избам, путаясь ногами в зеленых плетях, издававших возмущенное раздавленное хрупанье.

Сестры были так изумлены, что не сразу поняли, что происходит, а когда спохватились и кинулись в погоню, Алена была уже далеко.

Впереди замаячил проулок.

Заборы, сплошь заборы – Господи, воля твоя, одна калиточка приотворена! Алена нырнула в нее – резко пахнуло в лицо навозом, – проскочила через задний двор и вылетела на лужайку перед домом, не поверив своим глазам, когда впереди замаячили башни Кремля. Эко лихо она бежала! Нет, только кажется, что Кремль близко. Конечно, ей бы самое милое дело – забиться в Зарядье, темный и грязный угол Китай-города, но до него еще надо добежать.

По счастью, перед домом никого. Попадись сейчас кто навстречу – Алена душу бы из него вытрясла, попробуй только задержать!

Выглянула из смотрового оконца калитки. Улица пуста, впереди, в проулочках, маячат Воскресенские ворота. Хорошо... хорошо! Нашарила щеколду, вышла чинно, потупив глаза, – и обмерла: прямо на нее из-за угла трое стражников городских!

Алена едва не рухнула, где стояла: вот сейчас схватят, повлекут в узилище! – но солдаты прошли мимо, правда, беззастенчиво пялясь на простоволосую, растрепанную монашенку с длинной косой. Такое поди не часто увидишь!

Алена прикусила губу до боли, вынуждая себя идти спокойно. Нет, кажется, стражники к ней не прицепятся, кажется... И тут десятком женских переполошенных голосов истошно завопила улица:

– Держи беглую!

Еротиада! Выбралась-таки из подпола и ведет погоню!

Алена метнулась в проулок и понеслась, не оглядываясь, так, как не бегала еще никогда в жизни.

Промчалась мимо мельницы, которой давала воду речка Неглинная возле Охотного ряда, и по мосту сквозь Воскресенские ворота, мимоходом сотворив торопливую молитву Иверской Божьей Матери. Впрочем, едва ли Пресвятая Дева обратила внимание на скороговорку нерадивой келейницы, душегубицы, блудодеицы... и все такое!

В воротах Алена оглянулась – и сердце упало: монашенки, словно черны вороны, летели следом, хоть и поотстав, а среди них мелькали их помощники из стражи. Только этого еще не хватало!

Ну, не так-то легко ее будет взять в Китай-городе. Она ворвалась в толчею Красной площади.

– А вот шуба для доброго купца-молодца! Приклад моржовый, воротник ежовый, а вокруг всех прорех еще нашит рыбий мех!

– Покупай, баба, немецкий кафтан мужику! В один рукав ветер гуляет, в другой птица пролетает, от тепла зуб на зуб не попадает, зато такое платье по царскому указу всяк носить будет.

– Купил – так не задерживайся, а то дождь пойдет – товар раскиснет!

– Царское кружало с утра до утра – заходи, земляк, осуши кружку, повесели свою душу!

– А вот площадный подьячий – всякую челобитную напишу, купчую, меновую бумагу, письмо – хоть королю аглицкому!

– Подайте, люди добрые, кандалным на пропитание! Не для себя просим, для товарищей! Проели уже все с себя, одни кандалы, вишь, остались! Подайте, люди добрые...

– Стригу, брею! Цирюльник, цирюльник! Подходи, будь у тебя хоть пчелиный улей, а не голова – уйдешь таким красавцем, что девки за тобой вереницей бегать будут!

На Красной площади с утра толпился народ: тут были главные торги. Здесь бедный и расчетливый человек мог купить все, что ему было нужно, задешево: начиная со съестных припасов, одежды и до драгоценных камней, жемчуга, золота и серебра.

Глаза Алены так и шныряли по сторонам. Ей не надо было ни камней, ни жемчугов: какую-нибудь коломянковую¹⁵ юбочку с рубашкою или сарафанец. Переоденься она – никто и не глянет в ее сторону, погоня ее тогда уж нипочем не настигнет! Беда – денег ни гроша. А даром в Москве не дают и слезам не верят...

Она все ближе пробиралась к Гостиному двору. Здесь сплошь, одна на одной, харчевни, очаги: и меж рядов, и внутри двора. Однажды вспыхнул такой пожар в харчевне, что едва весь Гостиный двор не сгорел. Вот бы сейчас пожар, пусть самый слабенький, – такая суматоха поднимется, что Алену и с собаками не сыщут! Опрокинуть, что ли, один очажок, будто невзначай?

Впрочем, кажется, брать греха на душу не надобно, вроде бы ее и так потеряли... И, едва осознав это, Алена ощутила, что ноги подкашиваются от голода и усталости, и села, где стояла, под стеной харчевни. На нее поглядывали. Понурила усталую голову. Авось примут за упившуюся белицу, которой силы нет дойти до обители. Обычное дело, хоть и позорное. Но позору и напраслины Алена уже столько в своей жизни натерпелась, что не привыкать стать. Пусть кто что хочет, то и мнит, а ей пришло время подумать, куда идти.

А идти-то и некуда! Эта мысль вдруг поразила ее. Алена тупо уставилась в огонь очага, вокруг которого приплясывала торговка, ловко переворачивая на огромной сковороде куски жареной рыбы. Но Алена уже забыла о голоде. В самом деле, куда податься? Вот войдет она во двор Ульянищи: «Здравствуй, золовушка богоданная!» Смешно... да, смешно! А ведь Ульяна поди уже перебралась в братнин, наследованный ею, добротный, просторный дом из той избышки на курьих ножках, где она жила, овдовев. Бабе-ягеведь так и положено – жить в избе на курьих ногах... Но можно не сомневаться: Ульянища уже отпраздновала новоселье! Одно есть место, где никто Алену отродясь не найдет, да и искать не станет: батюшкин дом. Заколоченный, заброшенный, даром Никодиму не нужный – и в то же время стоивший Аленину отцу жизни... Вот там она и отсидится, придет немножечко в себя. И, может быть, Господь пошлет ей озарение: кто же все-таки плеснул Никодиму злого зелья. Ведь если сие не откроется, до конца жизни придется Алене скитаться, числиться в беглых преступницах, обреченно ждать смерти. Ведь жизнь ей была дарована лишь на монастырское послушание, а объяви Ерогиада, что келейница сбежала, – и будет в розыске женка Алена Журавлева! Ухо-

¹⁵ Коломянка – плотная льняная ткань с добавлением пеньки.

дить придется из Москвы, это уж как пить дать. А чем жить? Побираться, как эти вон, облепившие паперть Василия Блаженного, будто мухи? Или стыдным делом промышлять?

Нет. Нет. Она и забыла! У нее есть чем жить!

Алена напряженно зажмурилась.

Прежде чем идти в батюшкин дом, ей все-таки надобно исхитриться и слазить на сеновал в Никодимовом подворье. Там, в самом дальнем углу, беспорядочной грудой навалены пустые пчелиные колоды. Однажды Ульяница, у которой глаз был востер, змеей шныряла по двору, залезла-таки на сеновал – и пристала к брату, как банный лист: «Зачем, мол, тебе эти старые колоды да зачем?»

Никодима так и перекосило, однако он нашел в себе силы отшутиться: «Мол, храню по старой памяти, раньше медом промышлял, да больно пчелки злы ко мне, люди-то добрее, особенно когда – твои должники, и носят мне добро свое, как пчелки – мед!»

Ульяница тогда отстала, но Алена хорошо запомнила выражение угрозы, мелькнувшее на лице мужа, прежде чем он собрался с ответом. И припомнила, что он никогда не боялся грабителей, и не навешивал на двери тяжелые запоры, и не держал на цепи злющих, полуголодных кобелей, норотивших горло перервать всякому незваному-непрошеному... Вспомнила также Алена, что всякий заклад, принесенный ему, Никодим не по сундукам прятал, а клал за пазуху и деньги, нужные для дачи в долг, держал в маленькой шкатулочке. А остальные-то откуда брались, и куда девались золото, серебро да каменья, которые носили ему под залог? Ночью она не спала, хотя усталость морила смертно, и выследила-таки, как муж поднялся и неслышно проскользнул из дому к сенному сараю... Алена и помыслить не могла последовать за ним: увидев, убил бы на месте! – да и надобности такой не было, потому что она теперь не сомневалась: в одной из пчелиных колод – тайный Никодимов схорон. Надо думать, он и до сих пор там лежит. Едва ли страсть Ульяницы к порядку в доме и на подворье такова сильна, что она повелела выбросить старые, поеденные временем колоды.

Алену прошибло ледяным потом. Нет, ей должно наконец повезти! Тайник Никодима должен достаться ей! Тогда... тогда она сможет затеряться в российских просторах.

Говорят, где-то есть блаженные Макарийские острова: там сытовые реки – кисельные берега, а может, реки молочные – берега медовые. Девка в поле выйдет, одним концом коромысла ударит – готовый холст поднимет; другим зачерпнет из реки – нитки жемчуга вытянет. Стоит там береза – золотые сучья; живет корова – на одном рогу баня, на другом – котел; олень с финиковым деревом во лбу и птица Сирий – перья многоцветные непостижимой красоты, пение сладостное, лик человеческий – там живут, и много еще чего... да ни за какие деньги не сыскать туда дороженьки. Нет, Алена уедет на Нижегородчину, купит домишко в Любавине или, еще лучше, новый выстроит, будет жить-поживать, промышляя травознайством и рудомётством, и вот однажды придет к ней за лечением высокий да статный русоволосый молодец, и она узнает его сразу, хоть и не разглядела толком в ту чародейную купальскую ночь, когда отдала ему свое тело и свое сердце. Раз и навсегда, отныне и навеки...

Алена слабо улыбнулась. У нее кружилась голова от голода, она была одна на всем свете, гонима и бесприютна, – а все ж в эту минуту не было для нее невозможного и неосуществимого в мире! Одна только мысль о любви, одна надежда на несбывшееся заставили ее воспрянуть духом и исполниться силы. Хватит ей сидеть здесь, на затоптанной траве, под стеной зловонного кружала! Она гибко привстала – и в ту же минуту чья-то тяжелая рука легла ей на плечо, пригвождая к земле.

– Попалась?!

Почему-то в первое мгновение ей послышался злорадный голос Ероτιάды, и только потом, когда рассеялся туман ужаса, помрачивший зрение, Алена увидела, что держит ее стражник. Монахини скромно толпились поодаль, так и ели ее ненавидящими взглядами.

– Вставай, девка! – грубо потянул ее стражник. – Довольно уж насиделась!

Алена медленно зашевелилась, словно без сил, тем временем торопливо расстегивая ряску. Стражник вытаращил глаза.

– Чего ты, чего? – пробормотал он, хватая ее, но она успела вывернуться и, в одной только сорочке, бросилась к Василию Блаженному, торопливо расплетая и так уже полураспустившуюся косу и крича на ходу:

– Спасите, люди добрые! Испортили меня, испортили! Ой, бес во мне! Гоните злого беса! Теперь одно спасение ей было – поскорее взбежать на паперть.

Алена летела стремглав, выкрикивая, что приходило в голову, издавая несусветные звуки, лая, каркая – в надежде, что ее примут за бесноватую. За бесноватую, одержимую, кликушу, припадочную, изуроченную, порченую – какую угодно, но за свою. Нищая братия своих не выдает!

Она подскочила к высокой ступеньке, запнулась, вскрикнула, понимая, что если упадет – все, в нее тут же вцепятся преследователи, – и вдруг слепец, сидевший – пустые глазницы к небу, – остро повел на нее живым, зрячим глазом, внезапно явившимся из-под искусно вывернутого века, и протянул культю, покрытую еще свежими ранами.

Алена без раздумий схватилась за эту культю и даже успела удивиться, ощутив ладонью деревяшку, но не замедлилась ни на миг – и нырнула в гущу зловонных, немых тел, звенящих цепями и потрясающих веригами, волочащих обрубки ног и воздевающих обломки рук: эта черная стена стала на пути стражников, заслоня собой Алену, которая все кричала и кричала дурным голосом, при этом зорко озираясь по сторонам и видя, что и торгующие вокруг храма прекращают свое занятие и подбираются к стражникам – пока молчком, но с выражением нескрываемого недовольства на лицах. Чем ближе подступала толпа, тем неувереннее топтались на ступенях солдаты, а один так и вовсе замешкался и даже начал несмело улыбаться, указывая, что он тут и вовсе ни при чем: шел себе, да вот приостановился... Богу помолиться.

Меж тем старший в команде пока грозности не растерял и даже начал страшать обступивших его нищих, среди которых беглянки уже было и не разглядеть, государевым указом.

Делать этого, однако, не следовало... Всем остро памятливы были царские указы, по которым каждого, просящего милостыню, велено было перехватывать и для разбора и наказания свозить в Монастырский приказ, причем людям всякого чина запрещалось подавать милостыню бродячим нищим. По улицам Москвы и других городов ходили подьячие с солдатами и забирали и нищих, и благотворителей.

Но царское приказанье исполнялось вяло. У полиции да стражников и так забот хватало; ведь в их распоряжении были дела о пьянстве, воровстве, кормчестве, поимка беглых, жидов, разбор по жалобам о кричании караула, взыскание за ходящими в ночные часы без фонаря, наказание за ложное кричание слова и дела, за топку летом печей, наблюдение за правильной постройкой домов – а тут еще изволь шататься по закоулкам, взбираться на паперти... Этак всю Россию пересажаешь – она ведь вся нищая, всяк друг дружку о милости молит. У солдат, хватавших убогих, их отбивали милостивцы, и солдаты доносили, что они за нищими ходить боятся, что у них схваченных отбивают и самих бьют сильно...

Может, старшой стражи про сие не знал, может, чин не велел ему отступать, только он лез да лез на паперть, продолжая кричать про царский указ. И докричался.

– Какой же это царь, коли он Божьих людей обижает? – возвысился над нестройным гулом недовольный голос. – Прежние цари так не делали!

– Прежние государи по монастырям езживали, Богу молились, а нынешний только с немцами на Кукуе пьянничает да чертовым зельем дымит! – не замедлила подхватить какая-то дерзкая баба, а ее, в свою очередь, пылко поддержал кто-то еще:

– Так бы его, кажется, своими руками и удавил! Сколько он народу перевел... Воистину антихрист, а не царь!

И уже взревела вся толпа:

– Бей слуг антихристовых! Не тронь убогих, не тронь!

Мгновенно завязалась страшная свалка, но Алена в это время уже была далеко. Подобрал с полу ветхий черный плат, который неосмотрительно обронила какая-то не в меру любопытная бабенка, ринувшаяся поглядеть, как бьют нищие государевых солдат, она укуталась с головой, пробежала через боковой выход, спустилась с лестнички – и кинулась вниз, к игольному и щепетильному¹⁶ рядам, стремясь вырваться из Китай-города... в котором ей все же удалось разжечь пожар.

¹⁶ Щепетильный товар – галантерея: нитки, пуговицы, ленты и т.п.

Глава пятая

Батюшкин дом

Алена вышла на крыльцо и начала осторожно спускаться, прижимаясь к стене, чтобы холодный голубой лунный луч не смог ее коснуться. Дворик, чудилось, искрится белым снегом, и Алену била дрожь, словно ей и впрямь предстояло по снегу бежать босиком. В который раз заверив себя, что – глубокая ночь, все люди, добрые и недобрые, спят-храпят безмятежно, нечего опасаться стороннего глаза, она одолела последние ступени и на цыпочках, чуть касаясь травы, добежала до летней кухоньки. Вскочила туда, притворила покрепче за собой двери – и только тогда свободно вздохнула. Но тут же голова у нее обморочно закружилась, и Алена едва устояла на ногах.

Страшно хотелось есть, но не только от голода шатало ее. Она и сама не ожидала, что посещение батюшкина дома произведет на нее такое сильное впечатление. Она-то не сомневалась, что Никодим продал почти все вещи, чтобы вернуть долг Надеи Светешникова, однако, к изумлению своему, увидела их нетронутыми. Окна были не заложены ставнями, и в свете яркой, полной луны Алена отчетливо разглядела все, что так радовало и восхищало ее прежде. Отец в своем Аптекарском приказе с немцами водился, оттого не редкостью было встретить в его доме, рядом с простыми, липовыми или дубовыми, столами и скамьями, столики и кресла из индейского¹⁷ дерева с изогнутыми точеными фигурными ножками – немецкой работы или на польский образец. Отец охотно покупал в рядах по рублю за штуку золоченые стулья с замысловатой обивкой. На стенах висели зеркало и часы, в горках стояла посуда... Ничто не было тронуту – исчезли только любимые книжки Алены, но их, знала она, повыбрасывал в сарай Никодим. Она сама была в том виновата: собралась потащить в дом мужа всю эту компанию с детства любезных сердцу друзей своих: Василия Кариотского, Марьюшку – купецкую дочь, Петра – златых ключей, Благодетельную невесту, Мудрого Менандра, Царевича Иосаафа, храбрейшего и достославнейшего Улисса, совершившего странствие по землям баснословным, описанное грецким старцем Омиром, – всех, всех хотела взять с собой, и первым и страшнейшим впечатлением ее замужней жизни было видеть, как сгорел Улисс в печи.

– Не тебе читать! У тебя от чтения мозоль на глазу вырастет! – буркнул Никодим, и, как ни боялась Алена бешеного мужа, она не могла сдержать слез, что вызвало новый приступ ярости.

Никодим не понимал, что Алена вовсе не помышляла возвыситься над ним: она просто хотела иметь близ себя хоть что-то из осколков ее прежней жизни, разбитой вдребезги. Но Никодим желал всецело распоряжаться ее душой, как он распоряжался телом, – а душа так и норовила ускользнуть... Он чувствовал, видел это – и это снова, снова разжигало огонь его лютости. И сейчас Алена ругательски ругала себя за глупость, из-за которой храбрейший Улисс был обречен на погибель, а прочие друзья ее юности гнили в сарае. Как было бы чудесно увидеть их сейчас – терпеливо ждущими встречи! Может быть – наверное, наверное! – она возьмет их с собою в те далекие странствия, куда намерена отправиться. Не велика поклажа – десяток книжек, своя ноша, как известно, не тянет. Возьмет она и травы, лежащие в особых, нарочно для этого сшитых мешочках: на верхних полках – собранные отцом, на нижних – Аленой.

Она отворила дверцы горки и долго стояла, вдыхая сухой, как бы шелестящий, дурман-ный запах, который лишь для непосвященного был единым, но чуткое Аленино обоняние различало в нем множество оттенков.

¹⁷ Эбенового (старин.).

Отец брал только целебные, лекарственные травы. Алена, всемерно помогая ему, в то же время отдельно собирала былие чародейное и даже в темноте безошибочно могла сказать, где лежит адамова голова – зелье стрелков и охотников, которым окуривают ружья, чтобы метко били диких уток, или колюка-трава, обладающая теми же свойствами, или блекота – брошенная в воду, она привлекает рыб и делает их ручными, или дягиль кудрявый, который спасает от порчи, сердце веселит и, в шапке носимый, привлекает людскую любовь...

Нет, не помог Алене дягиль кудрявый, и вихорево гнездо не помогло – тонкие, высохшие веточки ветлы, спутанные в клубок во время вихря. Среднее «деревце» из такого гнезда, взятое с собою на суд, разрушит все несправедливые обвинения и поможет оправдаться перед сильными мира сего. Надо было не книжки брать с собой в мужнин дом, а травы, непременно кудрявый купырь, который считается лучшим противоядием и даже может предохранить от будущей отравы, если съесть этой травы натошак. И, может быть, Никодим тогда был бы жив, и не погибала бы Алена в яме, и не бежала бы от Ерогиады, и не воротилась бы изгнанницей преследуемой в отеческий дом... а все еще влачила узы своего смертельного супружества!

Она глубоко вздохнула. Что толку пререкаться с прошлым! Свершившееся свершилось. Ни хитру, ни горазду не изменить его, как не минути суда Божия. Слишком внезапным, потрясающим оказалось для Алены возвращение в любимый, спокойный мир ее детства и юности, – вот она и ослабела, вот и растерялась. Надо отыскать какой-то еды. Может, завалился хоть сухарик, хоть горсточка толокна...

Но ничего не нашла Алена, хоть и обшарила всю летнюю блинную сверху донизу. В погребе тоже было пусто. Нежилой затхлый запах доводил ее до тошноты, и она снова вышла во двор, села под березою, бездумно глядя сквозь темную тучу, густо разросшийся сад – в сторону соседних домов. Там, через четыре дома, Никодимово подворье – теперь, конечно, Ульяны Мефодьевны...

Алена понять не могла, как нашла в себе храбрости и безрассудства – залезть на сеновал. Если бы хоть кто-то ее заметил... холодным потом обдало все тело от запоздалого страха! И самое обидное, что рисковала напрасно. Пчелиные колоды все оказались пусты... почти. Да, Алена могла бы уйти из сенового сарая в полной уверенности, что обманывалась насчет Никодимовых тайников, кабы не малая находочка. На дне одной долбленки, еще липкой от многолетних медовых запасов, тонкие пальцы Алены нашарили перстенок с зеленым ставешком¹⁸. Ставешок был немалый – и цены, верно, немалой: изумруд¹⁹, не иначе! Оставалось только догадываться, какие сокровища держал здесь Никодим. Сам ли он накануне смерти поменял место схрана, кто-то проворный да ушлый добрался ли до его тайника – неведомо! И можно было поедом есть себя за то, что, чуть узнав про тайник, не опустошила его сама, сама не отправила ненавистного мужа к праотцам, не бежала с его казною, не затерялась на российских дорогах...

Алена покачала головою. Словно бы она про кого-то другого думает! Забрать, отравить... Да у нее это одно-разъединственное колечко из рук вывалилось обратно в пыльные, липкие глубины колоды, стоило Алене лишь вообразить, как она спускается по лестничке с сеновала – а внизу ее уже ждет Ульяница со стражниками да слугами... Все жуткие призраки недавнего прошлого стеснились вокруг, простерли к Алене костлявые, окровавленные, алчные руки.

Нет. Это не для нее. Не для нее! Лучше голодом, зато... Неведомо, чьи слезы, чья кровь на том перстне. Может быть, они и сгубили Никодима. Может быть, Алену и спасло от новой напасти то, что она не тронула перстня: как ни бесшумно кралась она по двору, вдруг загромыхал цепью заведенный осторожной Ульяною брехливый пес, вылез из будки, разинул огромную

¹⁸ Вставным камнем (*старин.*).

¹⁹ Изумруд (*старин.*).

пасть, готовясь издать лай, подобный звуку трубы Иерихонской... и, широко зевнув на недвижимую трепещущую фигуру, снова улез в будку.

И вот, слава Богу, Алена на своем дворе, живая, невредимая, свободная – но до смерти голодная, бесприютная. Здесь оставаться нельзя. Рано или поздно кто-то ее увидит. Надо уходить. Куда? Не на что теперь построить себе домик в Любавине. Негде будет дожидаться милого, ненаглядного...

Алена бледно усмехнулась. Она знала за собой это свойство: чтобы жизнь совсем уж не казалась невыносимой, искать во всяком плохом хоть капельку хорошего. Это умение, которое выручало ее в самые тяжелые минуты, напрочь испарилось после смерти отца, а теперь вот внезапно воротилось, и Алена, словно со стороны, услышала чей-то голос – даже как бы не ее, а другой Алены: разумной, рассудительной, все понимающей и все наперед знающей: «Ну сама посуди, как бы ты там жила, в Любавине? Ежеминутно ждала бы, что прошлое твое откроется? Ведь в глазах всех ты – убийца своего мужа, и обвинение пока с тебя не снято! Убийца истинный жив-здоров, ходит свободен, однако ты никогда и никому не докажешь, что невиновна, ежели скроешься в Любавине или где-то еще, хоть на островах Макарийских блаженных, хоть в праведном граде Китеже. От судьбы не отсидишься, а судьба твоя – доказать невинность свою и изобличить истинного злодея, ежели сего не сделали ни другие люди, ни сам Господь!»

– Но как? – невольно воскликнула Алена. – Как сделать это?!

Спохватившись, она зажала себе рот: ее голос едва не разбил стеклянную ночную тишину. Но нет, кажется, никто не услышал ее отчаянного восклицания – и никто не ответил ей, никто не подсказал, как жить, как спастись. Все было тихо, все печально; лишь листья уныло зашумели над ее бедной головушкой. Это береза зашелестела вдруг ветвями, хотя не веяло ни ветерка.

Алена вспомнила, что на Троицу в березовые ветви вселяются души умерших родственников. Троица уже миновала, но не к кому больше было воззвать в той тьме отчаяния, которая владела душой. Она повернулась к деревцу, обняла, приникла лицом к белой, прохладной, шелковистой коре – и залилась слезами. Так плачет дочь на груди матери, чая ответа и спасения, в безумной надежде, что всякую беду над ее головой может матушка развести руками.

– Матушка родимая, батюшка милый – помогите! – лихорадочно шептала Алена, остекленевшими от слез глазами глядя в дымную прозрачность ночи, словно чая узреть там дорогие тени. Она звала не только отца с матерью – она взывала ко всему сонму людей, породивших ее на незаслуженные страдания. За что? Зачем? Там, в вечной жизни, которую они обрели на небесах, они, верно, это знали... может быть, им ведом был и ее путь к спасению. Да смилуйтесь, откройте же этот путь!

Мучительные рыдания сотрясали ее, она плакала громко, отчаянно, уже не заботясь о том, кто услышит ее, кто нагрянет сюда, – и дыхание занялось у нее при звуке негромкого и почему-то очень знакомого голоса:

– Не плачь, голубушка! Не плачь, касатушка! Ты маленькая – все пройдет.

Надо было рвануться, бежать, но она сидела, как прикованная, впервые за много дней ощутив себя в полной безопасности – против всякой очевидности. Но этот голос как бы долетел из времен безмятежного детства, когда маленькая и донельзя приставучая Алена, как хвостик, бегала за соседским мальчишкой Лёнью, а тот, по мягкости душевной и не в силах противостоять ей, неотвязной, таскал девочку за собой, хоть дружки и поднимали на смех: в мамки-няньки подался! Хуже всего приходилось, когда мальчишки бежали на Язу купаться. Аленка плавать не умела, но упрямо лезла на самую глубину. Лёнька и покрикивал на нее, и отшлепывал – ничто не помогало: чудилось, эта кроха просто не сознавала опасности. И вот как-то раз Лёнька завел надоеду в нетопленную подклеть, напялил на нее тулупчик овчинный, чтоб не замерзла, посадил на лавку и, обмотав ниточкой, привязал эту ниточку к лавке. Алене сказано было, что ниточка – зачарованная и ежели она порвется – быть беде! Непоседа безот-

рывно наблюдала за медленными, важными движениями своего приятеля – и послушно осталась сидеть, испытывая такой священный трепет перед самим словом «зачарованная», что у нее и в мыслях не было сии чары прервать. Лёнька незамедлительно усвистел по своим мальчишеским беззаботным делам, однако некое беспокойство отчего-то начало его одолевать весьма скоро. Игра была нынче не в игру, баловство не в баловство, и вот, тишком да неприметно, он сбежал с берега и ринулся домой. Еще со двора донеслись до него рыдания столь отчаянные, что у Лёньки перевернулось сердце. Не помня себя, вскочил он в подклеть и увидал зареванную Аленку, с ужасом взирающую на концы оборванной нити – не простой, зачарованной! Оказывается, Аленка чихнула, озябнув в стылой каменной подклети, – нитка и лопнула. И каждую минуту она с ужасом ждала, что оборванные концы нити вдруг восстанут, как змеи на хвосты, и колдовство обрушится на нее. Потом, успокоившись, она уже вообще ничего в жизни не боялась, но утешал ее Лёнька теми же словами, которые прозвучали сейчас: «Не плачь, голубушка! Не плачь, касатушка! Ты маленькая – все пройдет!»

Однако сейчас она почему-то не утешилась, а еще пуще залилась слезами...

Лёнька, верно, понял, что девка просто не в себе – сломалась. Потянул ее к себе, помог встать и увел в дом. Там хоть темно было, жутковато, а все же глухие, надрывные рыдания Алены не разносились на все четыре стороны в ночной серебристой тишине.

Она плакала – а он сидел рядом, глубоко, часто вздыхая, словно и сам едва унимал рыдания. И впрямь – душа его зарыдала, едва он увидел эту изломанную отчаянием фигурку, обнимавшую березовый ствол. Она ли это – подружка прежних беззаботных дней, до того смешливая, что невозможно было не улыбнуться в ответ на ее мгновенно вспыхивающую улыбку, не расхохотаться, услышав короткий хохоток... Он вспомнил, как на день Марии Египетской они беспрестанно дурачили друг друга, потому что в этот день просыпался домовый и надо было всех обманывать, чтобы сбить его с толку²⁰. А еще Лёнька вспомнил, как однажды Алена прибежала к нему, будто обезумев, и вызвала из дому. Оказалось, сосед, Никодим Журавлев, завел себе преизрядную забаву! У него во дворе сидел на сворке скованный кандалами медведище. Держали его впроголодь, так что отпугивал он со двора случайного гостя получше самой злой собаки. Это ведь когда еще разглядишь, что зверь в кандалах! Примерно с месяц тешил Никодим зевак, а потом вдруг свел медведя в сад и привязал там к дубовой колодине, в гуще яблонь. Алене, которая, как известно, страха не ведала, пленника было жалко, и она ухитрилась подкармливать его чем могла, от яблок и лепешек до кусков домашней колбасы. И вот как-то раз, явившись кормить зверя, она увидела, что тот не один! К нему был прикован цепью парень – постарше ее, но совсем еще зеленый юноша, до того измученный, избитый, что у него едва хватало сил держаться подальше от медведя, который так и этак норовил укоротить разделявшую их цепь и наконец насытиться.

За что подвергся парнишка такой каре, был ли он лютый враг Никодима или просто неосторожный воришка, поплатившийся за свою дерзость, – никто не знал. Однако сносить сие бесчеловечие от соседа, которого все на порядке терпеть не могли, ни Алена, ни Лёнька не были намерены. В ту же ночь Алена впервые попытала свои силы в травознайстве. Вареву из сон-травы, которым пропитан был изрядный кусок солонины, предерзко выкраденный Лёнькою из отцовской кладовой, возымело свое действие лишь под утро, и еще немало пришлось затратить времени, прежде чем неумелые руки расклепали оковы пленника.

Парень, вся рубаха которого заскорузла от крови (зацепил-таки когтем медведь), так и ушел с цепью на ноге. Он даже не поблагодарил спасителей – был совершенно не в себе, – и, уж конечно, они не знали ни имени его, ни звания, ни дальнейшей судьбы. Может быть, сгинул где-то безвестно, умер от воспалившихся ран или повредившись умом после перенесенных страхов. Не у Никодима же спрашивать, кого он так сурово карал! Но диво заключалось в том,

²⁰ По старому стилю день Марии Египетской приходился на 1 апреля.

что сосед даже не обмолвился об исчезнувшем пленнике, не то чтобы шум поднимать или чинить розыск! А через день-другой пришел сергач²¹ и свел со двора медведя. Алена с Лёньюкой всей душой желали, чтоб жизнь звериная сложилась отныне удачнее... а про другого пленника даже говорить остерегались, впервые потрясенные безудержной человеческой жестокостью.

Они еще дружили немалое время, однако их отношения приобрели новый оттенок, когда Лёньюку отдали в гарнизонную школу у Варварских ворот. Алену отец с малолетства выучил грамоте, так что она равно свободно читала и церковнославянские письма, и новый, придуманный государем свободный шрифт, которым теперь печатались и «Куранты»²², и все книжки, которых вдруг явилось в России множество²³. Она даже готова была отказаться от сарафана к Рождеству, лишь бы наскрести денег на псалтырь или какую-нибудь «Повесть о Петре и Февронии», – и теперь Алену грызла люта я зависть. Она до того возжелала ходить в школу, что как-то раз даже предложила Лёньюке надеть его парик, шляпу, мундир, перчатки – и вместо него отправиться учить греческий, немецкий, итальянский, французский, математику, философию, географию, поэтику и прочие науки. По наивности своей она думала, что везде учат так же, как в знаменитой школе Глюка на Покровке. Но оказалось, что Лёньюка не зря проклинал отцов придумку и государеву волю. Какой там парик, какие перчатки, какая учеба, в конце концов! Гарнизонная школа была рассадником мальчишек-воришек. Присмотр за ними был самый плохой, полупьяные учителя на уроках клевали носами... Красная площадь и Крестцы под боком – школяры вместо ученья убегали туда и знакомились с другими мальчишками, пособниками взрослых мошенников. Те и другие ловко пробивались во всякой толпе и, пользуясь теснотой, почем зря чистили карманы. Тут же, за пряники и орехи, сбывали краденое площадным торговкам. Любимое время было – крестные ходы. В эти дни в толпе являлось особенно много воришек. Между ними были свои учителя, обучавшие всем тонкостям воровства. И эти уроки оказались для Лёньюки весьма привлекательны.

Именно тогда дружба пошла врозь: Лёньюка ощутил себя существом иным, далеким от мирной обывательской жизни, а Алена все больше вникала в отцово ремесло и теперь уже каждое лето уезжала с ним на промысел зелейный. А потом Лёньюка и вовсе сгинул куда-то... отец сообщил соседям, что сын, мол, взялся за ум и поехал собирать ясак с самоядов²⁴. И почти год Алена ничего не знала о своем приятеле – до сего мгновения, когда слезы, чудилось, омыли и душу ее, и глаза, и она смогла взглянуть на Лёньюку с прежней улыбкою, словно и не было меж ними прожитых в разлуке и отчуждении лет.

– Значит, ты все-таки жива... – пробормотал он, видя, что слезы наконец иссякли. – Жива! А я, право, уж решил, что тут бродит какой-нибудь безымень²⁵ и кличет. В нежилом доме, думаю, одна нежить, более ничего.

– И все-таки пришел, не забоялся! Где ж ты был так долго, Лёничка? Отец твой сказывал, мол, в Югорской стороне...²⁶

– Только там меня и не было, – усмехнулся Лёньюка. – А так – где только не побывал. Но пустые разговоры – обо мне! Ты лучше про себя скажи. Я слышал... сама знаешь что! – Он опасно покосился на Алену, и та слабо махнула рукой:

– Не гляди так. Не убивала я, хотя, каюсь, не раз желала ему смерти. Так что не бойся, не душегубица!

²¹ Вожатый медведя, обученного плясать и кланяться, выступавший с ним на ярмарках и т.п. Промышляли этим ремеслом выходцы из города Сергача Нижегородской губернии, отсюда и название.

²² Первая русская газета, которую начал издавать Петр I.

²³ С 1708 по 1725 г. была написана и переведена 591 книга – огромное количество для того времени!

²⁴ Сбор натурального налога пушниной с северных народов.

²⁵ Призрак.

²⁶ Югорская страна – старинное название территории между Печорой и Северным Уралом.

– Дура ты, а не душегубица, вот уж верно, – сердито согласился Лёнька. – Знала бы ты, душа моя, сколько я повидал... понимаю, как жизнь человека на кол вздергивает! Таково, бывает, за горло возьмет, что – либо ты ее, либо она тебя. Уж лучше – ты ее. И знай, Алена, что бы ты ни сделала, – я с тобой... пока живой. – Его голос дрогнул, но тотчас оживился: – А вот это опять же – пустые слова. Как ты спаслась – вот о чем скажи! Говорили... – Он снова осекся, и Алена ощутила, как пальцы Лёньки крепко стиснули ее ладонь. – Нет, вроде и впрямь живая, теплая!

– Помнишь, мы ходили с тобой глядеть «чертовы окна»? – спросила Алена и почувствовала, как Лёнька кивнул в темноте. «Чертовыми окнами» назывались небольшие, но глубокие ямы на углу или болоте. Это были, по мнению сведущих людей, входы в ад. Вообще всякая пропасть, овраг, пещера, колодезь могли быть входом в ад или на тот свет. – Вот в такое окно я и влезла. И уже видела врата ада и охранников – чертей, льва, собаку и змею... да, верно, смилостивился надо мной Господь.

Она вдруг задохнулась, не в силах продолжать, но Лёнька снова сжал ее руку, и, обретя утраченные силы, Алена торопливо рассказала ему все: и про смерть отца, и про свадьбу, Фролку, явление Ульяницы в казенке, безумное свое сознание... Про холод земляной удушающий. Про «честь солдатского оружия», последнее «прости» Алексашки Меншикова и, наконец, про нисхождение ангела на землю. Не утаила ничего из своей монастырской жизни, подробно описала побег и пособничество нищей братии.

Слушая о ее страшных приключениях, Лёнька обморочно затих, но, когда Алена рассказала про опустевший тайник, оживился.

– Ну, теперь все просто, – сказал он со знанием дела. – Кто схорон украл, тот и хозяина убил, вот помянешь мое слово, это еще разъяснится!

– Как же оно разъяснится, скажи на милость? – недоверчиво пожала плечами Алена. – Кто сие выяснять станет?

– Мы с тобой, кто ж еще? – безмерно удивился Лёнька такому вопросу, чем тронул Алenu до слез.

– Ах ты, милый мой, – хрипло усмехнулась она, с трудом удерживаясь, чтобы снова не зарыдать. – Со мною рядом и сидеть-то опасно. Я ведь как домовый – от черта отстал, а к Богу не пристал.

– Да я тоже, – буркнул Лёнька. – Совершенно таков же. – И вдруг вскочил, бесшумно, будто кот на мягких лапках, порскнул к окну...

Алена перестала дышать и едва могла выговорить, когда Лёнька, видимо успокоившись, вернулся к ней:

– Что ж ты пугаешь меня так?

– Пугаю? – хмыкнул Лёнька. – Это я сам боюсь! Знала б ты...

Он осекся, понурился, и Алене снова послышалась тоска смертная в его голосе. И, как всегда это бывало прежде, в далекие годы, все заботы и страхи ее словно бы попятились, притихли, размылись перед лицом тех страхов, которые одолевали стародавнего друга. Он тоже чего-то боялся – боялся отчаянно! Чего?

– Скажи, так буду знать, – спокойно отозвалась Алена. – Ты ведь про меня все знаешь, а я про твои беды – ничего.

– Беды мои! – горько усмехнулся, а может, всхлипнул Лёнька. – То не беда, что во ржи лебеда, а тогда две беды, когда ни ржи, ни лебеды! Твои беды – это да, а мои – дурь смертельная, и виновен в них один я. Я сам!

Теперь уж настала Аленина очередь брать его за руку, и легонько пожимать, и поглаживать, и как ни отмалчивался, как ни дергался Лёнька, все же он наконец решился – и выдохнул:

– Знаешь, я – вор. И в розыске тоже... как ты.

– Что ж ты украл? – спросила Алена как можно спокойнее.

Она и впрямь вдруг немного успокоилась, потому что ожидала признания Бог весть в каком лютовстве. Вор, эка невидаль! Кто ж нынче не вор на Руси? И она сама, если на то пошло: украла ведь платок у той бабы, он и теперь на ней!

– Спроси, чего я не украд! – с нарочитым задором вскинул голову Лёнька. – Таковую школу на Крестцах прошел, что сам сделался мастером. Могу табакерку у прохожего из кармана вынуть, табачку нюхнуть да опять в его карман засунуть – а он, увалень, и не почувет ничего. Вот этакую ловкость обрел! Ну и приметили меня... одноремесленники. Взяли в свою шайку. Много чего мы с ними к ногтю пришили! Неуловимы были, потому что на мертвый сон обводили хозяев дома, куда пришли красть, мертвой рукой, или мертвыми зубами, или другими мертвыми костями...

– Неужто из могилы брали? – передернулась Алена, наслышанная про страшное, хоть и верное воровское колдовство.

– А то! – с жалким ухарством хохотнул Лёнька. – И на Пасху заворывали – для удачи.

– Грех ведь, – слабо отмахнулась она.

– Жизнь – она вообще сплошной грех. Не согрешишь – не покаешься, – пожал плечами Лёнька. – Вот ежели б люди еще не помирали...

– Помирали?! – прижала руки к сердцу Алена.

– Было, ну, было! – угрюмо сказал Лёнька. – Из песни слова не выкинешь.

– Неужто отдают Богу душу после этих мертвых рук?!

– Нет, руки были, видимо, живые, человеческие, – вздохнул, помолчав. – Грабили мы, помню, струг с богатым грузом у Москворецкой стороны. А чтоб команда не перечилась, поднесли ей пивца с дурманом. Да, верно, атаман наш перестарался – ни один не проснулся, все перемерли, злосчастные! Я как про это услышал, сам едва не помер, а «кумовья» мои похоятывают: зато, мол, доносу на нас не будет, видоков²⁷ нет.

– Отстань ты от них, отстань Лёничка! – горячо зашептала Алена. – Пока чист от крови – хорошо, но ведь кровь-то пьянит, в привычку войдет!

– Это ты верно говоришь про привычку, – повернулся к ней Лёнька. Глаза его как-то особенно ярко сверкали во мраке, и Алена поняла, что они полны злых, бессильных слез. – Вот уж завтра пойдем на дело, так у атамана железно задумано: всю прислугу убивать на месте, а боярыней сперва попользоваться, но потом и ее – шкворнем по голове. Дом же поджечь, чтоб ни следа не оставить!

– Господи! – даже не испугалась, а изумилась Алена этаким обдуманной жесточии. – За что ж ее так? Или насолила ему чем? Или злодейка какая особенная?

– Злодейка? – так и вскинулся Лёнька. – Побольше бы таких! Боярыня милая, ласковая, веселая, собой пригожая. Живет она, правда, на хлебах у немца – ну, содержит он ее как любовницу. И то – не сыскать в Неметчине такой лапушки, белой лебедушки, как сия Катерина Ивановна! Дом ее неподалеку от Никитских ворот – полная чаша, и вот пожелал из этой чаши вкусить наш атаман. Как подумаю, что сызнова мертвые глаза после нашего ухода в небо глядеть будут, – сердце из груди выскакивает!

– Не тот вор, кто ворует, а кто ворами потакает! – вскинулась Алена. – Упреди ее! Чего причитаешь попусту? Явись к ней и скажи – так, мол, и так, боярыня милостивая...

– Так, мол, и так! – сердито передразнил Лёнька. – А потом меня за эти словеса мои подельники дубиной отворочают – имя свое позабудешь навек, а не то и вовсе насмерть убьют.

– Почему же они узнают, что это – ты?

– Атаман выведает, – с суеверным ужасом шепнул Лёнька. – У нас был такой, вроде меня... добрый да глупый. Завалил одно наше ремесло, ну, атаман его и выведат. Запытают похлеще, чем в застенке! Разве что в бега мне остается податься – с тобою вместе.

²⁷ Свидетелей (старин.).

– Нет, Лёничка! – помолчав, ответила Алена. – В бега я не уйду. Не по мне это – до смерти вздрагивать, да оглядываться, да погоню за собой чуют. Мне надо своего супостата отыскать, поглядеть в очи его. Никогда его не прощу. Никогда, пока он мне смертью заплатит!

– Так-то оно так, – промямлил Лёничка. – Однако ведь и Никодим Мефодьевич, гори он в адской смоле до скончания времен, сволочью был презряднейшей. Сама знаешь, многие на него зуб вострили. Вспомни хотя бы парнишку, что на цепи с медведем сиживал. Да мало ли их таких!

– Не за то супостата виню, что Никодима убил, – покачала Алена головой. – Надо думать, ты прав: многим покойник лиха сотворил! – а за то, что безвинных на расправу обрек. Фролка повешен, я... я и сама до сих пор не знаю, жива или мертва! А он – ничего, руки потирает где-то...

– Да уж, – понурился Лёничка. – Чужими руками жар загреб – все равно как мой атаман! Алена вдруг усмехнулась. Догадка, осенившая ее, была до того простая и ясная – проще некуда!

– А хочешь, я пойду к этой барыне? – задорно спросила она. – Меня в твоей шайке всяко не знает никто!

Лёничка вскинулся было, да и опять сник.

– Нет, это не дело. Ежели спугнут наших, они, конечно, уйдут, но опять придут. И все же меня визнают – как пить дать!

– Ну, Бог свое, а черт свое! – Алена усмехнулась. – Стало быть, надо так сделать, чтобы визнавать было некому!

Глава шестая

До третьих петухов

– Молодец, слышь! Оглянись-ка, добрый человек!

– Чего тебе? – Огромный ражий кучер свесился с козел прехорошенького, изящного, словно для забавы сработанного, возка: окошки слюдяные, разноцветные, оклад золоченый, дверцы с посеребренными цветами и пузатыми крылатыми младенцами, на крыше узорчатая решеточка, будто у самовара... Этаких карет было в Москве мало – раз-два и обчелся. Похожие с изумлением озирали расписной нарядный возок, стоявший возле ограды Вознесенского монастыря, в церковь которого, по воскресным дням открытую для мирян, обычно наведывалась к обедне Катерина Ивановна.

Прежде чем подойти к кучеру, Алена внимательно огляделась: не маячит ли поблизости худая черноволосая девка. Она была горничной Катерины Ивановны, и не от кого другого, как от нее, ватага грабителей была столь подробно сведома о свычаях и обычаях намеченной жертвы. Этой черномазой девки Аниски надлежало особенно опасаться, ибо стоило той лишь заподозрить неладное, и налет нынче ночью будет отменен – чтобы нагряться потом, в самое непредсказуемое время. И заподозривший подвох атаман примется сыскивать предателя...

Алена еще раз огляделась. То ли Аниска осталась дома, то ли в храме вместе с барыней. А узнать наверняка, чтобы приготовиться ко всяким внезапностям, можно только через кучера.

– Слышь, молодец! Ты Катерину Ивановну возишь, барыню, что у Никитских ворот живет в красном доме?

– Пошла вон, рванина, – лениво отвечивал кучер, отворачиваясь от Алены.

Та лишь вздохнула. Вид у нее, конечно, не ахти... Все, чем удалось разжиться в родимом доме, была престарая пестрядинная юбочка, там и сям зияющая прорехами, да какие-то вовсе уж замшелые поршни²⁸, в которых Алена прежде ходила за скотиною, а нынче принуждена была выйти на люди: избегалась босая за день, посбивала ноги о камни. Что и говорить, непривычна она босиком ходить: батюшка денег на башмаки для нее не жалел, при муже их еще донашивала, в монастыре хаживала тоже не босая. На плечах у Алены по-прежнему тот же ветхий платок, за который, быть может, клянет ее та растеряха-баба. Волосы неприбраны: причесать нечем.

Алена понурилась было, а потом подумала, что зря она, пожалуй, так плотно кутается в платок. У нее есть средство заставить кучера поглядеть на себя повнимательней, а значит, и прислушаться к ее словам.

Делая вид, что не может удержать на плечах сползающий платок, она громко ойкнула. Кучер, конечно, оглянулся – как раз вовремя, чтобы увидеть налитую грудь, которая трепетала под грубой тканью. Точно две лебедушки бились в тесных путах!

– Больно уж ты суровый, как я погляжу! – сладким голосом пропела Алена. – Может, сменишь гнев на милость, да все ж побеседуем?

– Об чем с тобой беседовать? Известно: поп, да девка, да порожние ведра – к худым вестям!

Он все-таки сообразовал повернуться к Алене всем лицом, а та едва не ахнула при виде обширного красного пятна, залившего всю левую сторону возчикова лица. Рожа, да какая!..

Первым чувством было отвращение, вторым – жалость.

– Что ж ты, добрый человек, над собою делаешь? – вырвалось у нее сердитое восклицание. – Мог бы уж о себе позаботиться, исцелиться! Чай, немало средств!

²⁸ Грубые башмаки из кусков цельной шкуры мехом наружу.

Против ожидания, кучер не взъярился, не огрел ее кнутом, а взглянул как робкий ребенок. Верно, собственное уродство причиняло ему немало бед, и приходилось дивиться жалостливости его хозяйки: другие обычно старались избавляться от страшноликих слуг.

– Ты что же, лекарка? – спросил он Алену без прежней грозности, вроде бы и забыв о ее отрепьях, и она постаралась не дать ему вспомнить о них:

– Лечился чем, сказывай?

– Ну, чем... – протянул возница. – Дело известное! Красную тряпку мелом намазывали, прилагали. В травах каких-то парился... пустое все это, ей-богу! – Он отмахнулся.

– Пустое, – торопливо согласилась Алена. – А гречишной мукой посыпал?

– Гречишной мукой? – Взор кучера притуманился: верно, он силился припомнить все те многочисленные и порою мучительные лечбы, коим подвергали его знахари и знахарки небось еще с малолетства. – Вроде нет, не врачевали. Это как же?

– Берется гречишная мука, свечка, мука на огонь сыплется, а потом на щеку, чтоб еще горячая была, и при том сказывается заговор. – И Алена привычной скороговоркой отгарабанила: – Стану я, раба Божия Алена, благословясь, и пойду, перекрестясь, на Океан-море. На Океан-море плавают рыба-кит, нет у него ни синего, ни красного пятна-рожи. Там ползает рак морской, нет на нем ни синего, ни красного пятна-рожи. Там лежит мертвый мертвец, нет на нем ни синего, ни красного пятна-рожи. Там сидит кочет-петух, нет на нем ни синего, ни красного пятна-рожи. И поди ты, красное и синее пятно-рожа, во чисто поле гулять, там ты разыграйся, там ты разгуляйся, откачнись от раба Божия... имя как?

– Имя? О Господи... – залопотал кучер, обо всем на свете позабывший, – да Митькой звали!

– Откачнись от раба Божия Митрия за три двери, за четыре замка, и замкни все болести и хворости за четыре двери, за четыре замка, как я слово свое замыкаю. Аминь!

Возница какое-то время оставался недвижим, только глазами лупал безостановочно. Потом повторил зачарованно:

– Кит-рыба... кочет-петух... за три двери, за четыре замка, аминь! – И отчаянно замотал головой: – Нет, мне отродясь сего не запомнить, не повторить!

– Тебе и не надобно, – утешила его Алена, будто малого дитя. – Ежели хошь, я тебя поврачу.

– И что, исцелишь? – недоверчиво воздел брови кучер.

– Исцелю! – резко, словно в омут бросаясь, проговорила Алена. – Ежели эта рожа у тебя не порчею наведенная, то исцелю.

– А ежели порчею?

– Ну, тогда надо доку посмекалистее искать. Может статься, порча была еще на твоих родителей наведена и через то на тебя попала. Тогда останется лишь смириться и Богу помолиться. Ну а ежели это простая болеть – изведу.

– Сговорено! – хлопнул в ладоши кучер. – А сколь за лечебу возьмешь?

Алена передернула плечами, и взгляд возницы вновь приковался к чему следует.

– В расчете будем, коли дозволишь барыне твоей скрыто словцо молвить, – сказала она.

– Какое словцо? – вмиг насторожился возница.

– Да вишь ты, добрый молодец, я знатная зелейница, – не моргнув, ответила Алена. – Не гляди, что я такая одяжка – дом мой весь сгорел, и вся справа погорела. Все, что осталось, – на мне, да еще травы-былия свои спасла. Среди них есть такие, что женскую красоту укрепляют, бледность низводят, очи проясняют, дыхание освежают, кожу очищают. Кабы захотелось твоей барыне моего товару купить, и она была бы с удачей, и я с прибылью, и ты от маяты избавился бы, раб Божий Митрий...

– Да наша барыня и без твоего сена хороша, будто пасхальное яичко! – с гордостью повел плечом кучер. – Такой-то беленькой да гладенькой небось по всей Москве не сыщешь. Помады,

слышь-ко, да белилы у нее заморские – таковые, может, только у аглицкой королевишны в стекляницах сохраняются. Нет, погонит она тебя, как пить дать! – Он снисходительно махнул на Алену рукавицею – и вдруг замер, и глаза его так и вспыхнули. – Слышь-ко, лечейка! А есть ли у тебя снадобье... ну, словом, для силы мужской? Снадобье, что уд вострит и семя множит?

Настал черед Алены лупать глазами и стоять столбом.

– Сроду не поверю, – пробормотала она наконец. – Сроду не поверю, что такой могучий, дородный молодец скорбен невстанихою... да нет, быть того не может!

– Дура! Я ж не для себя прошу! – с нескрываемой обидою воззрился на нее возница. – Мой приклад, слава те, Господи, снаряжен способно и к делу завсегда готов. Я им пятерых ребятишек сработал – и еще трижды столько смастерить могу! Нет, ты скажи: такое средство имеешь?

– Имею, конечно, – кивнула Алена. – Скажем, анис движет помысл постельный яко мужьям, тако и женам. Да мало ли... И слова заговорные знаю. Вот послушай! Встану я, раба Божия Алена, благословясь и пойду перекрестясь в чистое поле под красное солнце, под млад светел месяц, под частые звезды, мимо Волотовых костей²⁹. Как Волотовы кости не гнутся, не ломаются, так бы у раба Божия, имярек... тут имя надобно назвать того, кто плотской немощью мается, – так бы у него, стало быть, уд не гнулся, не ломился против женской плоти, и хоти, и против Волотовой кости. И возьми ты, раб Божий, свой червлёный вяз, и поди ты в чисто поле. Идет в чистом поле бык-третьяк, заломя голову, смотрится на солнечную колесницу. И подойди ты, раб Божий, со своим червлёным вязом...

– Хватит! Ради Господа нашего Иисуса Христа – хватит! – простонал возница, который все это время как-то странно поерзывал, а тут вдруг привскочил с облучка на полусогнутых ногах, прикрывая руками стыдное место, будто доняла его неодолимая малая нужда. – Верю! Верю тебе, только уж не говори более ни словечка. Того и гляди, выйдет барыня, а я... а у меня... ой, святые Божии угодники, пособите, ослобоните мя, грешного!

Обращение к святым апостолам, коих первой заботой было усмирение плоти, возымело свое действие, и возница вновь уселся на облучок и даже смог дух перевести, хотя лицо его по-прежнему было столь красным и взопревшим, что невозможным казалось отличить здоровую его половину от больной, пораженной рожею. Алена же, со своей стороны, помогла Божьим угодникам тем, что снова плотно укуталась в платок, убирая все соблазны с глаз легко возбуждимого Митрия.

– Это я не для себя, вот те крест! – уже спокойнее сказал он. – Это я для нашей барыни... сиречь, для ее полюбовника, – счел необходимым уточнить он, увидав, как Алена снова вытаращила глаза. – Чего выпялилась? Барин ладный, складный, обхожденьем приветливый – даром что немчин, – да вот, слышно, более месяца уже не канителит свою молодушку, белую лебедушку. Куда это годится?! Взял себе бабу – так делай с нею любезное дело. Баба, чай, не икона, чтоб из угла на мужика глядеть!

– Скажи на милость, тебе-то сие откуда сведомо? – не переставала изумляться Алена. – В щелки глядел?

Кучер, видимо, проникся к ней уже полным доверием, а потому сообщил вовсе уж шепотом:

– Есть у нашей барыни горничная девка Аниска. Язык у нее – помело! И метет она им направо и налево.

«Это уж точно, – мысленно согласилась Алена. – Ведьмино помело!»

– Так что, милка моя, ежели б ты барыне снадобье от невстанихи предложила, то и ее к себе расположила бы, и сделала доброе дело, – нагнулся к ней возница. – А зараз, глядишь, и меня поврачевала бы.

²⁹ Волот – великан (*старин.*), Волотовы кости – то есть могила Волота.

– Ничего не выйдет, – буркнула Алена как могла грубо и сердито. – Ничего у нас с тобою не сладится!

С этими словами и с выражением самого большого отвращения, которое она только могла изобразить, Алена резко отвернулась – и пошла прочь, хотя сердце ее так и трепыхалось от волнения. Она рисковала... но чувствовала, что не напрасно!

Ее расчет оказался верным. Через несколько мгновений тяжелые шаги забухали за ее спиной и железная лапища больно стиснула плечо.

– А ну, погоди! Куда это ты направилась? Почему так – не сладится?!

Конечно, следовало бы еще потянуть время, поднапустить туману и таинственности, однако обедня вот-вот могла закончиться, появилась бы Катерина Ивановна с этой воровской пособницей, и тогда все благие намерения Лёньки и Алены развеялись бы как дым. Нет, тянуть было уже некуда, и Алена не замешкалась с ответом:

– Потому, что дурной глаз да злой язык – хуже врага! Лечба, заговоры – дело тайное, а эта ваша Аниска любую затею переговорит, перекаркает так, что выйдет семипудовый пшик. К чему, скажи на милость, мне стараться попусту?

– А ежели мы ей рот заткнем? – нерешительно предположил кучер.

– Это как же? – усмехнулась Алена. – Мне надобно поговорить с твоей барыней один на один, без чужого уха! Вот ежели бы ты отозвал Аниску зачем-нибудь...

– Отзову! – мигом согласился возница, готовый уже на все не только ради собственной красоты, но и ради довольства барыни. – А куда?

– Скажи ей... – Алена сделала вид, что призадумалась, хотя обдуманно все было еще ночью. – Скажи ей, мол, пришел Ванька Красный и ждет ее у церкви Георгия-великомученика. Пока она туда обернется, я успею словцо молвить Катерине Ивановне. Да еще скажи: мол, он передал, что долго ждать не станет, а ежели уйдет, то свидятся они нынче ночью, как прежде было условлено. А ежели Аниска спрашивать будет, каков он, скажи – так себе мужичонка, от земли не видать.

– Погоди-ка, – свел брови кучер. – Почему ж ты знаешь, что она к Ваньке Красному так-таки побежит? И кто он есть, этот Ванька?

– Я ведь знахарка, вот и знаю, – отшутилась Алена от первого вопроса, не намереваясь отвечать и на второй: ну к чему сообщать невинному здоровяку Митрию, что мелкорослый Ванька Красный – кровавый атаман и Анискин любовник? Конечно, по первому его зову она к черту ринется, а не только к близенькой церкви! А не застав на месте, решит, что ушел, не дождался... Чтобы убедить Катерину Ивановну, у Алены не так уж много останется времени!

– Ну, хватит лясы точить, – осадил ее Митрия. – Слышь, звонят. Гляди, не перепутай, все в точности скажи Аниске, как я велела, а нам с барыней не мешай. Но поглядывай: чуть Аниска воротится, держись рядом и делай по первому знаку то, что будет приказано, хоть бы тебе пришлось голову Аниске оторвать!

И, развернув Митрия на месте, она подтолкнула его к церковным дверям, а сама стала поодаль, комкая на груди платок и всем сердцем взывая к матушке Марии.

Ей было невыносимо страшно вновь взойти на монастырский двор – пусть и монастырь этот совсем другой, и люди другие, и никто здесь и слыхом не слыхал об Алене-лиходейке, беглой келейнице покойной игуменьи. Чудилось, сама себя в западню ведет... оставалось лишь надеяться, что матушка Мария примет искупление ее вины. Ведь первое, что решила исполнить Алена после своего бегства, это спасти другую невинную душу, подобно тому, как была некогда спасена она сама. И, быть может, матушка Мария простит ей черную неблагодарность, если именно на монастырском подворье Алена предпримет первый для этого шаг?..

Она окинула взглядом чинно выходящий, творящий милостыню люд – и облегченно вздохнула: вот Катерина Ивановна! В точности такая, как говорили Лёнька и Митрий: белая

да румяная, с веселым взором, хоть и потупленным смиренно, статная, сдобная. И девка чернаявая при ней. Идут к карете... ну, Митрий, не оплошай!

И Митрий не оплошал! Пока барыня рассыпала направо и налево медяки, он склонился к Аниске и что-то прошептал ей на ухо. Девка воззрилась недоверчиво, но когда Митрий показал ладонью на вершок выше земли, она поверила – и, не сказавшись барыне, шмыгнула к Спасской улице.

Митрий подошел к лошадям, взялся поправлять упряжь. Мысленно похвалив его за догадливость, Алена шагнула вперед:

– Дозволь слово молвить, добрая боярыня!

«Добрая боярыня» рассеянно сунула ей копейку:

– Господь с тобою, бабонька, иди своим путем!

– Беда над тобой, Катерина Ивановна, – впрямую сказала Алена, когда безразличный голубой взор скользнул по ней. – Если не остережешься, отдашь нынче Богу душу, а дом твой сгорит, добро же покрадено будет.

Может быть, следовало начать издалека... Может быть, разумно было завлечь Катерину Ивановну своим лекарским искусством, намекнуть на невестаниху ее любовника... Но какая женщина снесла бы подобное без обиды? Откуда незнакомке может быть известно про этикие тайные напасти у любовника, ежели она сама от этих его напастей не пострадала? И хоть довольно трудно было приревновать иноземного кавалера к полуодетой побирушке, Алена с одного взгляда определила натуру Катерины Ивановны: эта из тех, у кого сани бегут перед лошадью. Из тех, кто сперва бьет, а потом спрашивает, что ты натворил, и вообще – натворил ли!

– Ты кто ж такая? Из какой ямы вылезла? – спросила пышногрудая красавица, убивая на месте Алену не столько безразличием тона, сколько внезапной прозорливостью. – Сама, что ль, красть придешь?

Розовый приманчивый рот расцвел в усмешке, но взгляд уже сделался цепким, и Алена поняла: теперь можно договорить до конца. Теперь Катерина Ивановна ее выслушает, но вот поверит ли – это еще вопрос!

– Не я, нет. Ватага воровская – человек двенадцать-пятнадцать. И не прежде уйдут, чем возьмут тебя блудным делом, а потом...

– У меня защита есть! – вспльчиво подалась к ней Катерина Ивановна. – Так что скажи своим...

– Они не мои, – спокойно перебила Алена. – А защиты твоей нынче дома не будет ночью: на карты зван иноземный господин, на карты до самого утра!

Катерина Ивановна видимо опешила.

– Кто тебе сказал? – быстро спросила она, и Алена порадовалась: не тратит времени на пустые отрицания очевидного и сразу смекнула – просто так, под окошком, эти сведения не подберешь, их унес из дому кто-то свой, весьма близкий к барыне.

– Атаманова любовница в твоём доме в услужении. Зовут ее Аниска, и через нее ватага о каждом твоём вздохе сведома.

Глаза у Катерины Ивановны сделались большие-большие и по-детски растерянные.

– Врешь ты! – выдохнула она. – Зачем Аниске?.. Она мне предана!

– Настолько предана, что направо и налево про невестаниху у твоего хахалы болтает? – с усмешкой ударила главным своим оружием Алена – и вовремя успела отстраниться от лилейной, но весьма пухленькой, а стало быть, увесистой ручки, уже готовой отвесить знатную пощечину оскорбительнице.

Глаза Катерины Ивановны вспыхнули таким полымем, что Алена даже испугалась, как бы ярость не помutila разум «доброй боярыни». Но та только прошипела:

– Это я тебе еще попомню! – и спросила совершенно спокойно: – Почему я должна верить про Аниску?

– Не верь, – охотно кивнула Алена. – Не верь, а проверь. Вот как только вскорости девка твоя воротится – ты ей и скажи, что получила известие от кавалера: мол, раздумал он идти к приятелям, а всех их к себе зазвал, так что надобно готовиться к большому ужину.

– И что? – с презрительным поджатием губ спросила Катерина Ивановна. – Будет что?

– А то будет, что Аниска запляшет, как змея на горящих угольях, и начнет проситься отпустить ее на час-другой. Ей после такого известия хоть умри – а надобно бежать ватагу упреждать, чтоб нынче к вам не собиралась. Одно дело – беззащитная бабенка, и совсем другое – мужчины вооруженные, которые и постреляют, и побьют ватажников!

– И что мне тогда делать?

– Не пускать! – решительно сказала Алена. – Не пускать ее ни за что! Скажите, мол, отпустите ее куда надобно, только пусть она вас прежде до дому сопроводит. А там, как придете, отдайте Митрию приказ, чтоб хватал предательницу и волок в какой ни есть чулан, под замок.

– Ого! – холодно протянула Катерина Ивановна, весьма внимательно вглядываясь в странную незнакомку, столь сведущую в ее домашних делах. – Так ты и к Фрицу моему в мотню лазила, и Митрия знаешь?! Ловка же, как я погляжу... Но скажи на милость, с чего я должна тебе верить? Почем мне знать, может, это вовсе не Аниска, а ты и есть воровская подружка, которая хочет заморочить мне голову?

– А ты меня запри в подвале на ночь – вот и вся недолга, – предложила Алена. – Буду я заложницей. Утро все на свои места поставит, ежели к обороне приготовитесь как надо!

– А это мне зачем? – хлопнула ресницами барыня. – Пускай себе Аниска упреждает своих, чтоб не совались – сегодня они и не появятся. Зачем хлопотать еще?

– Сегодня не появятся, так появятся завтра, – нетерпеливо, то и дело косясь на Спасскую улицу, объяснила Алена. – Неужто непонятно? Все равно – рано ли, поздно они до тебя доберутся. А ежели поступишь, как я тебе советую, – можно будет всех ватажников повязать враз. Народишко это лихой, мятежный! Не далее как неделю назад ограбили они команду астраханского стружка и ушли с хорошей добычей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.